

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ОКТАБРЬ
ШЕСТНАДЦАТОГО
КНИГА 1

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Собрание сочинений в 30 томах

Александр Солженицын

**Красное колесо. Узел 2. Октябрь
Шестнадцатого. Книга 2**

«WebKniga»

Солженицын А. И.

Красное колесо. Узел 2. Октябрь Шестнадцатого. Книга 2 /
А. И. Солженицын — «WebKniga», — (Собрание сочинений в 30
томах)

ISBN 978-5-9691-1044-1

Во второй книге «Октября Шестнадцатого» читатель погружается в тоску окопного сидения и кровавую молотилку боя, наблюдает тамбовских мужиков и штабных офицеров, Ленина в Цюрихе и думских депутатов в Таврическом, наконец, слышит знаменитую речь Милюкова, «штормовой сигнал революции».

ISBN 978-5-9691-1044-1

© Солженицын А. И.

© WebKniga

Содержание

Узел II	5
Книга 2	5
38	5
39	12
40	19
41	29
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Красное колесо

повествование в отмеренных сроках

Узел II

Октябрь Шестнадцатого

14 октября – 4 ноября ст. ст

Книга 2

38

Воротынцев на Невском. – Встреча со Свечиным. – Как расправляются с жёнами. – Публика в ресторане Кюба. – Ликоня в углу зрения. – На фронтах наших и союзных. – Обида на союзников. – Константинопольский мираж. – Можно ли было избежать войны. – Бенгальское колесо.

Двадцать пятого октября после полудня, ещё раз заглянувши в Главный Штаб на последнее додельце, Воротынцев вышел на Невский. Его билет был на поздний поезд, с Ольдой он уже попрощался утром, а вечерок мог провести наконец с няней и с Верой. И оставалось пройти Невский до Караванной, последний раз.

Как будто светлым, звонким, победно-успокоенным веществом он налит был весь, не на костях держалось его тело, а – распором этого вещества. Как будто он ни в чём, никаким родом не отполнялся эти дни, а лишь набирался, набирался этого победного вещества и пребывал теперь в таком звенящем состоянии жизни, как незапамятно когда, как может быть никогда, как думать было невозможно неделю назад.

У Ольды на стене висел ещё и гонг темноватого металла. После удара волосяной палочкой он долго-долго сохранял внутреннее гудение, протяжный глухой радостный звук. Вот таким же тронутым гонгом чувствовал сейчас себя и Георгий. Он сам до сих пор не знал, что из него извлекаются звуки, он думал только, что он обладает массой, что он металл и наблюден. А вот звук – гудел и гудел в его груди, и оттого казался новым весь мир и особенно – женщины в нём.

Восемь дней он пробыл в Петрограде, кончал девятый – а не выполнил того единственного, для чего задумана была вся поездка, – так и не встретился ни с кем серьёзно. Такой измены долгу в своей жизни не мог бы он вспомнить.

Он упрекал себя разумом, а телом – был благодарен. Утекали единственные месяцы или недели спасать положение, но и он же, Воротынцев, жил жизнь единственную и тоже, может быть, последний месяц, – и как же он мог отклонить, если судьба придвинула такое? Он был бедняк без этого, он просто – жизни бы так и не узнал без этих восьми дней.

Он упрекал себя, но были и оправдания. Во-первых, он телефонирует Гучкову несколько раз и просит передать, и даже сегодня днём брал телефон, но не застал опять: в городе, воротится вероятно вечером. Ну, значит, не судьба. А во-вторых, Ольга, отобравшая

его от долга, отчасти и затмила его уверенность. Всё сложнее намного, чем он думал с налёту, и требует размышлений. Как-то он за эти дни поостыл кого-то искать и что-то выяснять.

Из Румынии вылетев как снаряд – в пути незаметно и мягко он потерял разрушительную скорость.

Идя по проспекту, Воротынцев по обычной военной привычке замечал косым зрением встречающих военных, чтобы не упустить отдать честь. И теперь, перейдя Полицейский мост, он таким косым зрением увидел мощного военного в папаше, генерал-майорские погоны, – и острый взмах руки сам собой отдался ещё прежде, чем Воротынцев посмотрел на лицо этого генерала и узнал в нём – Свечина!!

Ответил и тот сперва тем же механическим взмахом, тоже не сразу разглядев и опознав.

Вообще-то Воротынцев читал в «Русском инвалиде» и знал, что Свечин – уже генерал-майор, помнил, однако и не помнил, не держал в памяти отдельно от прежнего Свечина, – и теперь моргнул от неожиданности.

Повернули, сшагнули, сошлись в рукопожатии.

– Е-горий?

– Ваше превосходительство!

– Ну уж! – приобнял. – Был бы и ты, сам не захотел. Помнишь известное определение: генерал – это достаточно поглупевший полковник?

– Хорошо, что ты не забыл. Ещё не отказываешься?

– Хотя по себе не замечаю, – сильными губами улыбался Свечин, – но отказываться было бы неблагоприятно. Впрочем, – коснулся золотого эфеса воротынцевской шашки, – разве это хуже?

Сказал для вежливости, так не думал?

Да Воротынцев не завидовал – ни когда первый раз прочёл в списках, ни когда увидел сейчас. Двух чувств он вообще не знал в жизни – зависти и обиды, вероятно от высокой уверенности в себе. И никогда за два года он не раскаивался, что тогда на ставочных генералах душу отвёл и правду насытил.

А всё-таки и в «Инвалиде» кольнуло, и сейчас кольнуло...

– Или это не ты? Вас – двое, что ли? Ты же в Ставке, вот письмо в кармане, звал меня заезжать.

– Так и вас – двое? Я тебе в полк писал, а ты – в Петербурге?

Удачная встреча! Воротынцев не знал, насколько серьёзно истолковать свечинское письмо, полученное перед самым отъездом, и – заезжать ли в Ставку на обратном пути.

– Уже уезжаю. Сегодня ночью.

– А я – через три часа. Жаль, что не вместе.

В левой руке Свечина был крокодиловый чемоданчик, настолько маленький, что ни грузом, ни багажом нельзя было его назвать, и даже генерал мог нести его, не противореча уставу.

– А приехал когда? Вот не встретились! – порывом пожалел, а на самом деле не мог жалеть Воротынцев: за Ольдой когда ж бы им?

В чёрных глазах Свечина просверкнуло холодное:

– Сегодня утром.

Не понял:

– Сегодня и приехал, сегодня уезжаешь?

– Я... – с жестоким пожимом больших губ, – приезжал только порвать с женой.

В толк не взять:

– С утра – и до вечера?

– И дня много, – жестоко, небрежно говорил Свечин мимо Воротынцева.

За это время они произвольно повернули – так, как шёл Свечин, перешли Мойку, постояли, перешли Невский к Деловому клубу, постояли. И, как складывались сами шаги, пошли по Мойке в сторону Гороховой.

Весь день провисело тяжёлое небо, особенно тёмное сейчас, к ранним северным сумеркам. И начинался дождь, серая поверхность Мойки помарщивалась от капель.

– Понимаешь, – хмуро объяснил Свечин. – Несколько месяцев назад я узнал, что жена прибивается к распутинской компании. Я её – предупредил. Но я не евангелист, предупреждаю не семьдесят семь раз, а только один. Особенно женщину.

– Почему же к женщине строже всего? – с беззаботностью возразил Воротынцев.

– К ним-то? – настаивал Свечин. – Никак иначе. Иначе пропадёшь. Можешь денщика простить до десяти раз. Можно вольноопределяющегося простить за бегство с поля, ему не закрыто исправиться. А женщина – или понимает с первого предупреждения или безнадёжна.

Станный, безжалостный вывод. Но как приятно неожиданно встретиться со старым другом, при сохранившейся полной простоте отношений. Да вообще, после Ольды – что могло бы ему не понравиться? Всё отлично, всё кстати, даже дождь.

– Но что ж именно случилось?

– Ничего. Только чай приезжал пить Старец. В моей квартире – пил чай!! – длинные губы Свечина перевились как жгуты. Это был признак бешенства, за то звали его, ещё при яркой черноте глаз, Сумасшедший Мулла. Однако в служебных делах никогда он это бешенство не проявлял.

– Ну – чай, слушай! Простое гостеприимство! – всё веселей, как будто дразня, возражал ему Воротынцев. – Да наверно ж и другие гости были, духовные разговоры вели.

– Молиться – церковь есть, – сурово отклонял Свечин, безчувственно к шутке. – Нужны обязательно старцы – езжай в Оптину. Да там, видишь, старцы не те. А если шестеро баб надевают прозрачные платья и трутся около здорового мужика...

– Ну, не по шестеро!

– Да по двенадцать! Рассказывают: в баню с ним ходят, графини-княгини, вот такие же жёны, по очереди мочалкой его трут.

– Ну, не все. Ну, не всякий же раз, – легко возражал Воротынцев.

Вот как. Бредём все разумно по набережной, а в сторону на шаг оступись и – бултых.

– Да я этих графинь в общем виде не осуждаю. Моя оговорка лишь в том, что *моей* жене там не место, она должна знать своего хозяина. Даже если там только чёрные сухарики принимают в душистые платочки да выпрашивают грязное гришкино бельё поносить. Пили чай за моим столом, была предупреждена, – достаточно.

– Но что она сама говорит?

– Не знаю. Это не имеет значения. – Сложил губы как для свиста. – Я, видишь ли, не застал её дома. А ждать не стал, мне завтра в Ставке быть. Написал записку, сложил вот этот чемоданчик, всё остальное – ей.

Поразился Воротынцев: чтобы так – не в кавалерийской атаке, а – кончать семью?

– Сыновья – оба в кадетском. Дальше в училище пойдут.

А дождь усилился, да крупноватый, мочил им папахи, шинели. Они прошли вдоль Мойки, воротились к Кирпичному переулку. Темнело, сырело, скоро зажгут фонари.

– Так ты куда сейчас?

– Да куда. Пообедать.

– Так вместе? Хочешь, пойдём к моей сестре?

– Да давай в ресторан. Вот тут Кюба рядом.

Пошли по Кирпичному. Вот и мимо тройных витражей ресторана, уже задёрнутых, тепло освещённых изнутри. Завернули на Большую Морскую, к мраморному портику на штукатуренном доме. На повороте обошёл их мягко лихач на дутых шинах и раньше остановился у Кюба.

Сошёл молодой человек, принимал за собой подругу. В песочном пальто и чёрной шляпке, не покрывавшей всех волос, она спрыгнула, тонкая, лёгкая, пошатнулась, и спутник придержал её, как обнял. Они вошли перед офицерами – и в дверях и в вестибюле потянулся ток духов от той девицы.

Под розовыми абажурами друзья с удовольствием раздевались в тепле, отстегнули и пашки. А те двое – у соседнего гардеробщика. Без пальто выявилась статуэточная отточенность девушки в золотистом платье до щиколоток, а без шляпки – избыток длинных волос, назад двумя каскадами. Спутник назвал её Ликоней.

Казалось – уж Георгий был переполнен, а нет, – появилось внимание смотреть. Вот и эту бы он раньше не заметил. А сейчас, встретясь с ней глазами, не счёл неприличным задержаться чуть дольше, будто надеялся успеть не полюбоваться, а выявить ей что-то своё.

– Такие барышни разве ходили сюда раньше? Кюба ведь был для деловых встреч?

– Вернёмся – многого не узнаем, – мрачно отозвался Свечин.

Да первое неузнаваемое и неприятное был спутник её – с выложенными подвитыми серыми локонами, чуть не напомаженный, с уверенно-ленивыми манерами. Надменно окинул он высших офицеров с их академическими аксельбантами и академическим серебряным прибором – как гардеробщиков, не больше отпускаая им интереса.

– Это во время войны, сопляк такой. Погонять бы его по ходам сообщения, в три погубели.

– Да-а, – бормотал Свечин. – Читают стихи сомнамбулические, слушают этих истериков Северянина да Вертинского. Чтó тут пока растёт – нам неизвестно.

Первый этаж ресторана был длинная зала в коврах, в теплоцветных шёлковых занавесах на больших трёхарочных окнах, верхний свет несильный, а на столах стояли заабажуренные лампы. Но тип ресторана изменился, да: сидели дамы, переблескивая украшениями, курили длинномундштучные папиросы. А в дальнем углу у содвинутых столов, перегруженных блюдами, большая компания справляла какое-то тыловое торжество. От них доносился избыток сытого шума, и ещё на помосте, за занавеской, мастерили для них какое-то зрелище.

Воротынцев никогда не был любителем ресторанов – по многолетней денежной стеснённости, но и принципиально: любой ресторан снижает темп дела и раздувает долю удовольствия – пропорция, которую Воротынцев себе в жизни никогда не разрешал, да давно и не желал.

Но сейчас приятно было опуститься в мягкий стул против Свечина и, уже в объёме сложного соединения многих съестных запахов, невообразимых для фронтовика, пождать пока поднесут меню, а раньше того что же? – закурить.

Случай так случай! – хорошо открывалось поговорить с другом – нестеснённо, обобщённо. Хотя в Петрограде ото всех разговоров Воротынцев скорей растрясся, чем собрался.

И Свечин расположился удобно, потянуть время до поезда, и с удовольствием поджигал трубку. Ни по чему было не угадать, что в этот самый час, или около, его жена входит в квартиру и от мужа, который мнится ей за семьсот вёрст, читает гильотинную записку.

Поразительно, как это смог он круто так, и как собой владеет.

Потому им было легко друг с другом, что ничего не надо проговаривать подробно: хоть и не виделись два года и почти не переписывались, но только назвать – и обоим ясно большей частью от начала, большей частью до конца.

Если *Шампань*, так это не родина шампанского, а участок, где всё прошлое лето обещали союзники начать наступление в вызволение нам, но не начали, но дали нам сгореть в нашем прошлогоднем безснарядном гибельном отходе – и снарядов тоже не прислали нам. А когда у нас всё кончилось, то они без пользы выпустили три миллиона своих в этой самой Шампани.

Да что союзники сделали за весь Пятнадцатый год? А английская пехота – много ли дралась? С начала войны продвинулась на несколько сот метров. Очень уж себя берегут.

Или: кавказскую армию зачем гоним в ненужное, безнадёжное наступление по турецким горам? Что может быть бессмысленнее нашего наступления в Турции? Горы, снег, суворовские богатыри и чудеса, взят Эрзерум! – а применить ничего нельзя, всё зря.

Но выручает союзников под Салониками. Но выгодно для Англии в Месопотамии.

Ничего не надо объяснять, только называй. Сентябрьский ли измолот гвардии под Свинохами-Корытницей (названия – как прилеплены, по достоинству операции). Или мартовское бессмысленное наступление у Нарочь-Дрисвяты – без всяких шансов на успех, спеша до оттепели, не считая потерь, продвинулись – и распутица, окопы залиты водой по колено, артиллерия и обоз не передвигаются.

– А всё только – выручить союзников под Верденом. А и верденский бой начали немцы, союзники б не решились. – Воротынцеву уже всё к одному цвету, отчаянному.

Но Свечин из Ставки может быть и справедливей:

– Это – измолотные бои. Французы под Верденом тоже, может быть, за двести тысяч потеряли.

Воротынцеву всё равно не по нраву:

– Они хоть – с шумом на весь мир, хоть в историю войдут. А Эверт сколько потерял? Наверно...

– Тысяч семьдесят.

– Вот! И – ни звука. Вот так мы умираем.

Свечин-то много знает, не всё сразу вытянешь.

Орудия нам присылают – на тебе, убоже, что самому не гоже. От нашей хрустящей конской амуниции, от зарядных ящиков из кондовой древесины – не отказываются. А паровозов нам нужно 300 штук – не дают. Их формула: потребности Западного фронта громадны, оторвать от него не можем.

Да это что! – а людей!.. Уже вскоре после самсоновской катастрофы союзники имели наглость просить у нас четыре корпуса во Францию через Архангельск. А потом у них были потери в ударных сенегальцах – и с марта этого года они бесовестно требовали от нас 400 тысяч наших солдат, на свой фронт, по 40 тысяч каждый месяц.

Воротынцев не то что высвистнул, а – выдохнул как пар паровозный: во-о-он за чем приезжали эти морды благообразные, Вивиани с Тома, отснятые для всех иллюстрированных журналов. И получили-таки русский экспедиционный корпус! Дичей этого корпуса выдумать нельзя: чтобы сидели русские мужики за семью морями в чужих траншеях как колониальные сенегальцы.

– Ну, ни за что б я не дал этого корпуса! – бурлил Воротынцев. – Значит, воевать до последней капли крови, только русской? Ну нет у Государя твёрдости, ну нету!

И по Свечину пошарил взглядом, как он насчит Государя? Не должен бы измениться.

– А куда ж денешься? – со своим обычным спокойным пессимизмом возражал гологоловый, гололицый Свечин, обстриженные маленькие чёрные усики под большим носом. – Алексеев поторговался с Государем, с французами, но б бригад по 10 тысяч пришлось дать. У союзников логика железная: поскольку недостаток вооружения не позволяет русским использовать все свои силы, то не нам должны добавить оружия, а мы должны свободный людской персонал уделить на их фронт. – Усмехнулся: – Как модный поэт читает по эстрадам: «Лишь через наш холодный труп пройдут враги, чтоб быть в Париже».

А взгляд Воротынцева, мимо свечинского плеча, пришёлся на ту пару, севшую через три стола. И почему-то тот неназванный модный поэт совместился для него с этим декадентом с навитыми локонами, спиной сюда. А Ликоня сидела очень удобно для наблюдения, в три четверти.

И хотя Воротынцев уже давно убрался от них мыслями, и разговор со Свечиным был жизненно важен, и всегда б он был весь тут, вонзаясь, – а вот какое-то новое остаточное вни-

мание появилось в нём, не уходило из глаза, из мысли: о чём они там могут разговаривать? чем живут? И что ему эта девица, которую он никогда не увидит больше? – но что-то востромчивое от неё вошло, её присутствие почему-то всё время ощущалось. Разной женственности, оказываются, бывают женщины. Эта изгибистая девушка виделась как частица всего, что так густо в эти дни захлебнул Воротынцев. Но уже по тому, как она с извозчика соскочила в обнимку, и у гардероба была вся повадка отданная, привязанная, досадно убеждался и самый безкорыстный наблюдатель, что эта Ликоня со внимательно-медленными глазами и двойным водопадом волос...

– Так и выражаются откровенно: вы нам – солдат, тогда мы вам – оружия. Подвигами нашими умеренно восхищаются, а платежей требуют как ростовщики: за все военные заказы систематически платим наличным золотом в лондонский банк, а в долг – ничего. И вот истощилась валюта – и не можем делать военных заказов, сокращаем.

Свечин морщил крупный жёсткий нос, как от дурноватого запаха.

Даже не в долг?! Ну, как бы ты ни был предостережён, как бы ни ждал дурного – а всего никогда не угадаешь. Требуя по 40 тысяч русских тел в месяц – и за каждую железку тут же золото на кон? Нет, этого западного торга нам никогда не понять! И куда же мы отдаём?

– У Головина-то мы ещё восемь лет назад говорили: развивать военное производство, чтоб ни от кого не зависеть. Так тогда и нафталинные старцы и умная Дума пожалели именно золота. А теперь – отвезли его всё.

Воротынцев страдательным голосом:

– Ком-мерсанты! Мы для них – не товарищи по несчастью, а удобная дубина? Франция – просто купила нас. Как же можно при нашем богатстве да так попасть? Как же воевать так неравно?

И под такие вопросы – только *одно* лицо всегда выставлялось перед ним, со своим стеснённо-равнодушным выражением. Ведь *он* – всё это знает! Как же он может так уступать? Зачем полез в такую петлю? Почему не заговорит с союзниками твёрдо: мол, иначе выйдем из войны?

– Мы – вообще одни, никто с нами искренно, – выливал Воротынцев свою настоявшуюся горечь. – И что когда-нибудь хорошего делали нам англичане или французы? Почему, собственно, они наши союзники? Как легко мы им простили Крымскую войну! А Японскую?

Ведь Англия была японским союзником, подарила Японии два броненосца с британским экипажем, продала три десятка вспомогательных пароходов, снабжала японский флот своим углем, на их угле Того вёл все сражения. А у Франции было с Англией «сердечное согласие» – а с нами само собой тянулся союз против Германии, но никакой поддержки нам – как это? Где ж наше соображение? И сегодня же союзники наперебой отплёвываются, что им, демократам, пришлось взять в союз такую гадкую, реакционную Россию. В прошлом году Ллойд Джордж публично злорадствовал нашим отступлениям и потерям.

– Их друзья американцы – к нам открыто враждебны вторую войну. Зачем и почему мы с ними союзники?!

Возобновлялись их обычные прежние друг с другом роли: роль Воротынцева – произносить горячие разоблачения, роль Свечина – с угрюмой насмешливостью напоминать безнадёжные факты, но побольше молчать и равномерно служить.

– Или Балканы? – не унимался Воротынцев. – Стоило нам для болгар брать Плевну, мёрзнуть на Шипке? Вся идея возглавить славянство – ложная, вместе и с Константинополем! Из-за славянства мы с немцами и столкнулись. Шли они на Балканы, дальше в Месопотамию – а нам что? это – английская забота. Да и для сербов – чего мы добились? Третий год воюем за Сербию и Черногорию – и что? Они стёрты с лица земли. И мы – шатаемся. Миллионы – в земле, два миллиона в плену, если не больше, да крепости сокрушены, области отданы – всё для союзников! Почему Англия могла перебросить войска на материк через год – а мы должны

были в две недели выложиться? А после Самсонова – можно было не переть на Германию, вопреки собственной доктрине, не перемолачивать кадровую армию? И румын в союзники нам навязали французы!

Свечин и спорил и не спорил, усмехался попышливо, дымом:

– И нас же упрекают, что наши военные усилия в Румынии недостаточны.

– И всё – из-за проклятого константинопольского миража! – сек Воротынцев. – Как будто нам дуракам наши дорогие союзники уступят проливы когда-нибудь, чем мы думаем? И что за тупая жадность – почти всеобщее ослепление этим Константинополем, будь он неладен! И Достоевский туда же. И от самых крайних правых и до кадетов, даже до Шингарёва, – жизни им нет без Константинополя!

В меню стояли цены непостижимо высокие. Но и – выбор. Не слишком по карману... А что ж тут пить? Генеральские звёзды надо ж обмыть? Не может быть, чтобы водки не устроили, небось как-нибудь тайно...

Как церковная вера неуклонно раскладывается на народ, а для чистой публики всегда допускаются полегчания, так и здесь не могло не быть изъятий.

Свечин когда и согласен, так посмеивается, Свечин свои заборцы знает. Он – критик особенный, к нему привыкнуть. Вот он знал о союзниках горше Воротынцева, но через каменные заборцы не прыгал. Знай ругай, а служи в своём загоне.

– Кстати, знаешь: Алексеев предлагал вообще с Турцией помириться и фронт ликвидировать.

– Да что ты! И он бывает такой умница? И что ж?

– А ничего ж. Чем у нас может кончиться?.. А по-твоему что ж, надо было союзничать с немцами?

– Один отставной корпусной генерал, как только войну объявили, сказал: ну всё, погибли две империи, российская и германская. Я тогда ещё этого не оценил. Не говорю союзничать – но можно было удержаться в хорошем нейтралитете. И они нам его не раз предлагали, хоть в Девятьсот Седьмом.

– Но нам нужно было одним рывком избавиться от немецкого засилия.

– Но для этого не непременно воевать! У нас это проговорить невозможно – сблизиться с центральными державами. Кадеты мешали вооружаться – но при этом с Германией не мирись! Конечно, уже имея договор, получается, что надо было спасать Францию. Но раньше того: мы не нуждались ни в этом договоре, ни в этом союзе, ни в территориях. Наша потребность – только внутреннее развитие. Это понимал и делал Столыпин.

Но свечинскую глыбу так просто не сдвинешь. Скучно посапывал:

– Да и Германия во время Японской интриговала. Она в таком союзе с нами была, чтоб задушить торговым договором, брали зерно задаром. А старое вспоминать – так кто на Берлинском конгрессе запретил нам проливы? Почему Скобелев говорил: «Дорога в Константинополь ведёт через Берлин»? Всегда смотрели немцы на Россию как на навоз для удобрения.

Это правда, что ни вспомнишь – то унижение. Ну, и русская политика.

– В общем – были пути уклониться от этой войны. И надо было.

– Нет. Раз Германия твёрдо решила с нами воевать – без унижения мы уклониться не могли. Они бы вынуждали нас, следовал бы позор за позором. Чтобы против Германии мочь ровно стоять – нам неизбежен был союз с Францией. Вот Александр III и принял. А иначе б мы остались один на один.

– Ну и что? Что ж, у нас спина хрупче, чем у Германии? Ну не-ет! Ещё одна Отечественная война? Так вот тогда б наш народ и стал – заедино и до последнего, не как сейчас. А стань в положение Германии, разве она не одна? Кто у них по сути союзник? Да никто. А стоят – против всего мира, я-те дам! Они стоят одни – так мы, гигантская страна, не простояли бы? Ну что нам этот коммерческий конфликт между Англией и Германией? – он нас не касается,

зачем мы туда встряли? Если Россия куда лезет – то только по несознанию своей силы. Если б мы понимали себя – никогда бы мы не тесались в игру этих мальчишек. Что нам в каждой драке непременно надо? Дураки политику обдумывают. Вообще никто не обдумывает. Мы – тем сильней, чем твёрже в своих пределах. Да, ты прав, нам послан был урок Турецкой войны: мы воевали, умирали, а другие, в нейтральности, пальцем не пошевелив, направили как хотели. И в *эту* войну нам бы всего только – не мешаться, деритесь, а мы ни при чём, да два года мирно постоять, – так не было бы силы, сравнимой с нашей.

– Ну, Егорий, что о том говорить, чего не жарить, не варить. Правильно, неправильно, но историю не переделаешь, что уж ты так горячишься?

– А то, что и сегодня из этого вытекает, как нам быть дальше! – не гнулся Воротынцев.

– Как же? – уже заранее высмеивал Свечин.

– А-а... – менять весь наш взгляд на веденье этой войны. Перестать пробивать стену лбом, не считаясь с жертвами.

– Вот тебя не поставили вместо Алексева! И как бы ты это делал?

– Я бы? – Готов, но замялся. – Ну, по крайней мере Шестнадцатый год *продремал* бы, никуда бы не лез.

Тут усилился шум на банкете в конце залы, что-то объявили – и те непойманные мародёры или провизоры, нажившиеся на опиуме и кокаине, стали аплодировать холёными руками. Кто-то раскланялся – свадьба не свадьба, юбилей? выгодная сделка? – отдёргнулась занавеска, а за нею –

подвешено какое-то колесо. И двое служителей стали быстро поджигать его в разных местах. И отскочили тут же.

Колесо само завертелось, густо рассыпая искры бенгальского, всё сплошной занимаясь огнём по диску, в три цвета: серебристый из центра, голубой по большому кругу и красный по ободу, как бы национальный флаг, только во вращении. Закружившийся, заверченный флаг.

Ах, как забавно! Ах, как весело придумано! – смеялись, хвалили, аплодировали мародёры.

Но пиротехники не рассчитали: поредел серебристый цвет, поредел голубой, и исчерпались оба, а объёмлющий красный – нисколько. Так и вертелся налитым ободом.

Красным.

Алым.

Багряным.

Огненным.

Докручивался, рассыпая искры.

Не так, а где-то что-то подобное...?

Да! Мельница горела в Узду...

39

Менять характер войны. – Проигрываем народ. – Выигрываем войну. – Можно ли, нужно ли выйти из неё? – Как работает генерал Алексеев. – Перспектива Ставки для Воротынцева. – Появление Гучкова.

Водку подали им в нарзанной бутылке. Изобретателен бес. Как это может быть? Да платят полиции взятки, вот те и не замечают.

А уж это – причуда посетителей-офицеров, что они к нарзану заказали солёную закуску.

А на какой-то стол принесли толстый чайник с «белым чаем». Устраиваются.

Ну что ж, начали?

По стопке, по стопке – с отвычки грело и разбирало веселовато.

За эти полчаса со Свечиным Воротынцева уже покидала та самодовольная победность, распиравшая его тело, дозвуки гонга в нём уже не стали звучать, – возвращалось тело в свою обычную жизнь – и дремавший ум просветлялся.

Войну – надо вести иначе. Не надеяться, что она вот к лету кончится, а – менять весь её характер.

Свечин согласен: менять методы ведения войны. Как мы застыли в окопных линиях – из этого вырваться непросто, можно и десять лет просидеть. И вот есть идея, которую в Ставке никто не слушает: не стараться толкаться целыми фронтами, а формировать хорошо подготовленные, отлично снабжённые ударные группы, все – на копытах и на колёсах. Прорвать фронт хоть узко, хоть на несколько часов, – и бросить такую группу глубоким рейдом! Такой войны немец не выдержит, это будет почище партизан в Отечественную. А ответить тем же он нам не может, потому что наши рейды у нашего населения найдут помощь, а он – не найдёт.

Нет. Вот теперь-то, обежав места неразногласные, и раздиралось их понимание от разноты опыта за два года.

– Не в приёмах, Андреич. Уже не в оперативных приёмах. Я тебе говорю: менять весь её *характер*!

Из штаба Верховного видно не то, что из полковой землянки. Кто засиделся в штабе, тот забывает чувствовать погибших. Им – можно ноли при числах подсчитывать. Но...

– Ты оглянись, ты ощути – сколько мы уже народа нашего перебили? Уж офицеров – и лучших, и средних, всех перебили, давай вспоминать. И сколько уже таких полков, как 1-й Сибирский, где ни одного не осталось? Вместо кадровых – прапорщики «с идеями». А главную массу наших унтеров мы погубили в Четырнадцатом году. Сейчас русских уже побито больше, чем когда-нибудь в нашей истории, в любых войнах. И льётся именно и почти исключительно – русская кровь. Кавказцев – мы не призываем, ладно. Туркестанцы не захотели идти даже на тыловые работы – мы согласились, хорошо.

– А инородцами много не навоюешь. В пехотную службу они пойдут неохотно, они – кавалеристы, а по нынешней войне кавалерию надо как можно уменьшать, знаешь сам. А такого упорства в бою, как у русских, – ни у кого нет.

– Кто тянет, того и погоняй, да? Что мы делаем! – ратников гоним, беззащитные бороды. Своими руками гоним Россию на смерть. Если других щадим – почему же своих не щадим? Мы проигрываем больше, чем войну, – народ! Это невероятно, что мы выкачали из страны миллионов сколько? тринадцать? и продолжаем качать дальше, уже мальчиков 19-летних. А в окопах всё равно не сидит и три миллиона – а где остальные? И лошадей сгоняем, разоряем тыл – зачем? У немцев был перерыв в войнах сорок три года, а у нас – всего девять. Но кто же воюет умелее?

– Со всей их умелостью они сейчас лошадей кормят суррогатом из соломы и древесины. Конечно, организация. Но они задыхаются без людей, без продуктов, без материалов – и наш фронт, наоборот, представляется им грознейшей силой.

– Да? А наш тыл? Нам с фронта ещё очень мало видно. – Он сказал «нам с фронта» из вежливости, понимая, что у Свечина в Ставке слишком взнесенная и неугнетённая точка зрения. – Мы с позиций только и смотрим вперёд, на неприятеля. А поездишь – наслушаешься... «Надо бить немца сперва внутреннего!...» «Не умеете воевать – кончайте!» Рабочие уже бунтуют и захватывают запасные части.

– Ну уж! Страсти-мордасти.

Да! Вот за эти дни в Петрограде. Очень серьёзные волнения на Выборгской стороне. Полиция... А соседний запасной 181-й полк... Чуть передайся через мосты – и во всём Петрограде...

Ну уж!

Когда не случилось – так всегда «ну уж!». А когда случится, так: иначе быть не могло.

А мародёры там, в глубине зала, шумно веселились, в хохоте взрывались. И все, конечно, имеют законное право не воевать, сорить деньги и праздновать в ресторане Кюба даже по будним дням.

Насчёт Выборгской не очень поверил Свечин. Впрочем, десять дней назад и Воротынцев, – из армии как можно в это поверить?

– Где и муки даже не стало хватать. Сейчас как бы не опаснее, чем летом Пятнадцатого. В прошлом году, как мы ни отступали, но сыт и крепок был тыл.

– А как уж мы так отступали? – рассердился Свечин. – За Москву, как в Отечественную? До Полтавы, как Пётр? Даже не до Днепра, как от поляков бывало не раз. А мы – всего лишь на краю Польши стоим. Ну потеряли Польшу, Галицию, часть Лифляндии...

(Польшу, Галицию, Лифляндию, – но оставалась Ольда. Имея Ольду, уже не чувствуешь себя в столь побитой армии.)

– Тебе бы поотступать самому с венгерской равнины – попятиться задом на Карпаты.

– В Пятнадцатом страшно показалось оттого, что без снарядов. Ну, отошли на 500 вёрст, а ни одной армии, ни одного корпуса не дали окружить. А сейчас снарядов – завались, и с каждым месяцем больше. И армия – прочна, и тверда, и исполняет свой долг, не знаю случаев неподчинения. Ты невольно поддаёшься – от румынских впечатлений. А кроме: Германия и Австрия уже нигде не способны на большое наступление и переходят к обороне. И обречены на истощение, к ним силы ниоткуда не подходят. Пленные немцы стали – упавшего духа.

Увеличенно крупная, а по слабости волос всегда стриженная под машинку, голова Свечина была не кругло-овальная, как у всех людей, а с выпирающими несимметричными буграми, как бы знаками упорства. Волосы скудные, а голова – непробиваемая.

– Мы, напротив, войну уже неотвратимо выиграли, – пёр он своими буграми. – Ничего, хоть эти чёртовы доблестные союзнички где выиграют – всё равно война наша. Пойми: центральные державы изготавливают в сутки 600 тысяч снарядов, а Согласие – 800, это ж когда-то всё равно перевесит.

Но лишь всего один такой снаряд – да в гущу нашего окопа...

Воротынцева пригнуло к столу – к Свечину, через стол навстречу. Устойчивый наклон, как ходят в атаку. И твёрдо, и глухо:

– Наш **корень** выбит, Андреич! За эти 27 месяцев выбит наш корень. Не считай союзников снаряды, поезжай посмотри наши полки. Это – уже не те полки, какие шагали по Пруссии, тогда у Самсонова. Нам – армию подменили, Андреич! Никакая победа нам не заменит убитой России! Мы сейчас – добиваем тело народа. Не считай союзников снаряды, да и наши, – народу обещали войну в три месяца, народ выдохся, народ хочет только замирения! Настроение солдат такое: затеяли баре войну и убивают мужиков. Если Россия подменится, станет другая Россия, – зачем нам победа?

Пахнуло на Свечина.

Но не убедило, даже изумило:

– Так тебе что – уже и победа не нужна??

– Я просто – вижу, как оно есть, – отдышавшись Воротынцев после выпаленного. – Такую логику мы уже помним: «претерпевый до конца, спасен будет», да? Если мы не уничтожимся, вот это и будет победа, после всех глупостей. Нам победа в Европе ничего не даёт, что она нам даёт? Ещё земли захватывать? Опять Константинополь?

Но Свечин смотрел с недоумением. Нет, этого он не принимал:

– Так что ты предлагаешь? Теперь выскакивать из войны, что ли? Сепаратный мир? Но если Россия отделится теперь от союзников, она и окажется в побеждённых. Преждевременный мир привёл бы Россию к беде. Даже к революции.

– Как раз наоборот! – спокойно выставил Воротынцев.

Но так прямо – сепаратный мир – он не хотел или ещё не готов был сказать.

А Свечин:

– Знаешь, я соглашусь: может быть и умно было в эту войну не встречать. Но уж встряли – надо кончать её, а не метаться. Война сорванная, наспех законченная – грозит ещё худшими последствиями, чем нынешнее напряжение. Да как это, ну как это выйти из войны – и без ущерба для России?

– А продолжать и тянуть её – не худший ущерб, чем выскочить? Практически это можно обсудить. Один из вариантов, говорю, задремать.

– А что скажут союзники?

– Да не о союзниках мы должны думать, а о спасении своего народа! Это – интеллигентская, кадетская фраза: что России будет несмыслимый позор, если она расстроит единство с союзниками. А эти союзники довольно на нас покатались, хватит. Да все войны всегда они вели для своей выгоды, а только мы болваны без толку суёмся... Я иногда думаю, правда, что нас хитро впутали в эту войну: союзники нуждались осадить Германию, – а хорошо это сделать русскими руками: заодно и Россия крахнет внутри, раз она даже Японской не выдержала. Они выиграют – они и победу захватят, мы – лишь бы им выволочили. Так пусть они свою победу берут, а нам нужно только не уничтожиться, перестать терять людей. Бывает болезнь, бывает усталость, когда дальше – ни шагу нельзя?

Из сходного знания они делали разные выводы. Эта страстность разногласий между сходными – она и досадна, когда всплывает, но она ж и плодovitа всегда.

Да нет же, нет, как раз наоборот! – убеждал Свечин:

– Самый важный год в войне и будет Девятьсот Семнадцатый, и именно после всех жертв тут и нельзя ослабить напряжения сил. Мы даже вынуждены *увеличить* армию – теперь, когда фронт растянулся до Чёрного моря. Сейчас белобилетников переосвидетельствуют – ждём от этого 600 тысяч. Да ратников 2-го разряда – ещё 150 тысяч. Да очередной призыв. И с этими ресурсами...

Ресурсами, Боже.

– Да нельзя больше испытывать народное терпение, пойми!

– Да ты стал выражаться, как народник, а не как офицер генерального штаба! – смеялся Свечин чёрными сочными очами.

– Нет, как доктор. Как доктор, приложивший ухо к груди, – и услышал смертные хрипы. Поверь! Не пустое говорю. Знаю.

До этой минуты Воротынцев высказал всё, что хотел, не смягчая, – и сколько бы Свечин ни возражал – но сказано, и между ними легло. Однако продолжать дальше, – а *решения, пути* – он не мог предложить. Он только знал, он чувствовал, что – надо действовать!! И вот такая встреча! Куда естественней! – умён, силен, быстр, доверие полное, теперь и фигура – генерал в самом сердце Ставки. Не намного мельче и Гучкова. Во всей поездке такой встречи не было и не будет.

Но Свечин – служака. Он может всё понимать, а содействовать – не будет:

– Тут в Петербурге все взбеленились, будто мы войну проигрываем. И с чего это взяли? И друг друга настрёкивают. И, конечно, Гучков туда же, в первых рядах. Что за дерьмовое письмо его Алексееву, читал? Придрался – не к существу, чтобы только правительство выбрать и шума поднять побольше. Раздул, раздул – и распространять, дамский приём, истерика, как у всех тут. А что в письме доказано? Ничего. Очередной столичный экзерсис.

Вот повернулось: сам же Свечин и налетел на центральную фигуру, и Воротынцев опешил его защитить. Там, в Румынии, это письмо сослужило ему переполняющей каплей, подожгло его нетерпение – оттого ли, что мы так бываем готовы слишком? А сейчас подумал: правда, что за форма?

А Свечин доламывал:

– Гучкову как раз стыдно не разобраться: он и военным себя считает, и на фронт заглядывал, и снабжение как будто знает, или даже занимается. Хотя его эти военно-промышленные комитеты неизвестно что больше: помогают снабжению или путают, нельзя иметь столько хозяев. Да и все же только рвутся на фронт – агитировать генералов да раздавать офицерам ротаторные речи.

Тут подали им уху, немного умеряя и отвлекая обоих. А водка их уже была при конце. Не давая остывать, накинулись на уху.

Немного подсправясь, опять усмехнулся чернобровый безбородый башибузук:

– А видел бы ты, чего это Алексееву стоило, – он с тех пор заболел, не выздоравливает. Ведь он, как истинно-русский человек, больше всего на свете боится начальства. А тут – Государь мог подумать, что Алексеев и действительно состоит с Гучковым в переписке!

Сразу мысли: а сам Свечин – разве не боится начальства? И, если уж до конца: как он сегодня к Государю? Это – ключ.

– Ну и так, как он, работать, тоже заболеешь. Ведь он через свою единую голову не только всё армейское, но уже и всё гражданское: заготовки провианта, фуража, металлический голод, топливо, даже милитаризацию заводов. Он по-прежнему: помощников себе не ищет и хорошего штаба никогда не создаст. Половина Ставки – вообще бездельники. Один у него советчик был Борисов, нечёсанный, немытый, дух запазушный, и тот не работал. Алексееву нужны только исполнители, вроде дурака Пустовойтенки, лишь бы бумаги вели в порядке, а не совались! Старик даже не желает смотреть оперативные планы нашего отдела: мол, если решение должен принимать один человек, то он один должен и планы составлять. Сам! Предложишь ему что-нибудь вроде рейдов – только отмахивается, поменьше нам этих новинок, увольте!

– Ну, хоть и в одиночку, а решения, я смотрю, он принимает неплохие. Если, ты говоришь, он – за мир с Турцией. И, если я правильно слышал, он и с Румынией не хотел вязаться, а отдать предпочтение северной части фронта. Да ведь как ему, наверно, его величество ещё подпорчивает?

Пристально на Свечина.

Тот, над ухой, размеренно:

– А союзные дипломаты? А царица? И даже Распутин, свинья, передаёт Алексееву советы.

Не добавил глазами больше сказанного, но – всё понимает, конечно. А сворачивает на своё:

– Но и нельзя же все задачи армии и страны пропускать через одну голову. Это как раз свойство человека, одарённого не щедро. У нас – бранить принято Государя, сколько угодно правительство, только не нашего старика, он стал как признанное достояние России. А между нами поближе: разве он достойный Главнокомандующий великой армии?..

Вот именно. Только не он – Главнокомандующий. Верховный с ним по соседству – спит, гуляет, обедает с генералами и дипломатами, слушает охотничьи истории, посещает кинематограф.

– Ну конечно, после Янушкевича и Данилова – на Алексеева можно молиться. Но вот это и есть та лопата, которую ставят вместо иконы.

Тут – как не присоединиться:

– Это, Андреич, и есть тоска десятилетий бездарности. Даже когда искренно хотят поставить даровитого человека – уже не способны найти его. И ставят, по наследству, со своей печалью ограниченности. А соваться в такую войну – надо быть твёрдой властью, иначе бы и не соваться. Тот же и тыл – выдержал бы и вчетверо, как в Германии выдерживает, – если была бы твёрдая рука.

Свечин как не слышит:

– Да я о нём – и не плохо. Не корыстен, не честолюбив, разумно понимает дело. Да и не отвергнет правильного решения, если только оно лежит на привычной плоскости и в умеренных пределах. И спать не ляжет, пока всех распоряжений из головы не выдаст. Только стал над Россией возвышаться как монумент безценного опыта. Но я к чему веду: сейчас старик серьёзно заболел. И видно надолго, и видно в отпуск уйдёт.

– Да что ты? Чем же?

– Что-то с почками. И температура всё время. Это – злословим, что перепуг от письма Гучкова. А старик здорово подался. Но к чему я опять веду: что перед Алексеевым невозможно было и заикнуться, что вот такого и такого делового человека взять бы в Ставку. Скажет: спать поменьше надо, и сами справимся. Но теперь, если он надолго уйдёт, – неизбежно в Ставку будут брать новых людей. Ты сейчас здесь – в отпуску? или по какому делу?

Сердце стукнуло:

– Дней через пять думаю быть в полку.

– И сгниёшь за мамалыгу, – твёрдо уложил Свечин твёрдую руку на воротынцевскую. Деловито, как опасаясь дружеской благодарности: – Ты не думай, что я о тебе эти два года забывал. Но была не та обстановка. В штаб великого князя тебе, ты понимаешь, возврата не было.

Да замечательно бы! Если хотеть участвовать в каких-то кардинальных центральных изменениях – так Ставка и лучшее место.

– Там, левей вас, сейчас две новых армии формируют до устья Дуная.

– Когда? Не было.

– Вот, с 17-го числа. И пиханут тебя туда из Девятой, ещё дальше, ещё грязней, ног не выберешь. Там уже передвигают. До каких пор тебе околачиваться по окраинам?

Это и была одна из болей: уж полком бы – ладно, но зачем на таком чёртовом краю? На Дунай? – значит, против Болгарии? Это и значит – ползти за византийской мечтой. Когда фронт стоит на Двине – обидно умирать за Константинополь.

– А пока старика не будет – я могу попробовать быстро забрать тебя в Ставку. – И якобы уговорчиво: – Полковых командиров мы ещё наберём. Но ты – стратег, где твоё место?

Уговаривать ли его, что он стратег? С какой клички он и начинал юнкерскую жизнь! Только несколько академистов и знают по-настоящему, что может Воротынцев. Никому проронить нельзя, но даже пост командующего армией он не считал бы для себя чрезмерным. Ставка, Ставка! – и ему нужна, и он ей.

Однако:

– Но есть приказ брать в штабы только офицеров третьего разряда, полуинвалидов?

Как командир действующего полка Воротынцев истово ненавидел раздутость штабов в русской армии. Как полковой командир он вполне был бы доволен и переводом хотя бы на Северный фронт.

– То в штабы, а то в Ставку, – с дружеской грубостью отбросил Свечин. – Да и в штабах сидят здоровые, не выковыришь. Не дури, Егор, не брыкайся. Скажи, куда тебе вызов послать, – в два-три дня вышлю. А то – так заезжай в Ставку сейчас, на обратной дороге?

– Всё – так, Андреич, – обдумывался Воротынцев. – Это – очень хорошо...

Но если уже этого касалось – имел ли он право, благородно ли было скрыть от Свечина свой сегодняшний образ мыслей и свои смутные планы, которые хотя и замыслом ещё нельзя назвать, а всё же... Свечин должен знать, кого рекомендует. А и – назвать это всё очень трудно, это ещё всё нужно обсуждать. Но мысли мятежны, это – несогласие с тем упёрто загипнотизированным ведением войны, как ведёт или плывёт Государь. Мысли – мятежны, на чей взгляд они – к спасению России, но чуть сдвинь акценты – их можно назвать и государственной изменой?..

И ведь не один Воротынцев так думает: это носится в воздухе, так думают и другие, конечно.

Не Свечин?

– Всё так, Андреич. Но я говорю тебе: в разорении – дела *обще*-государственные. И поэтому требуется от нас нечто большее, чем простая служба в Ставке.

Вглядывался в башибузука.

Тот – доедал рыбу, осмотрительно к костям.

Воротынцев переклонился вперёд, опираясь о столик, собирая на большеглазого, большеухого, упрямого – весь душевный напор, с которым вылетел из Румынии. От нескольких фраз, построенных правильно или неправильно...

А над их головами:

– О-о-о! Да тут сегодня, я вижу, собираются младотурки?

Вскинулись – стоял подле них Александр Иванович Гучков!!

Тёмно-серый сюртук, чёрный галстук на стоячем крахмальном воротничке. Улыбался, и даже что-то мило-застенчивое в улыбке было. Приветливо поглядывал через пенсне.

Воротынцев радостно вскочил:

– Александр Иваныч! Вот чудо!

Свечин поднялся сдержанно.

Ответное пожатие Гучкова было слабоватое. И весь он выглядел не бодро, хотя добирал тем, что голову держал назад.

– Какое ж чудо?

– Да вот – встретили вас!

– Я у Кюба – нередко. Больше чудо, что тут – вы. И вдвоём.

– Я ведь... звонил вам, искал вас!

– Мне передавали.

Серьёзно-печальное выражение выкатистых глаз. Под глазами и в щеках – отёки. В набрякшем лице – тяжесть.

Хоть и видно, а:

– Как себя чувствуете?

Плечи покатые. Весь в линиях ненапряжённых, усталых. В скруглённом бобрике, виски зачёсаны назад, в скруглённой бороде, бакенбардах – седина.

– Да как! Хворь и поросёнка не красит.

Штатская одежда, спокойная благообразность, неторопливость, даже осторожные движения. Средний интеллигентный купец, на избыток денег может быть собирающий картинную галерею или содержащий пансион для одарённых детей. Не вполне достаточного и роста, рыхловат, комнатная фигура.

А кто же – из первых задир и дуэлянтов России? А кто же вдохновитель младотурок? кто это устроил в 3-й Думе небывалый кружок из думцев и молодых военных?

Средний образованный купеческий посетитель ресторана Кюба. А между тем – душа Москвы. Человек, которого боится царь! Неугасимо ненавидит царица! Однако и сам коронованный славой – и оттого недоступный для кары.

– Судари мои, – подсмеялся он, – но вы так беседуете, с конца зала видно, что составляете заговор. И что тут у вас за обед? Если вы с досугом – у меня кабинет заказан, поднимемся? Ко мне, правда, должны прийти, но я успею протелефонировать и отодвину.

Лучше и придумать было нельзя. Свечин с Воротынцевым переглянулись.

Если дома ты оставил последнюю разрубающую записку и только ждёшь отхода поезда...

Если ты и ехал в Петербург увидеть этого человека...

Гучков пригласил их к лестнице на второй этаж.

Он не то чтобы хромал, но тяжела была его стопа, раненная в бурскую войну, а теперь скрытая в высоком ботинке на особом каблуке.

40

В ресторанном кабинете. – Взрывы во флоте. – Болезнь, за которой следила Россия. – Грани Гучкова. – Есть ли в России гласность? – Гучков и кадеты. – В борьбе с правительством не жалеть ударов. – Гучков о масонах. – Равноправие евреев, равноправие крестьян. – Особенности еврейского вопроса. – Для того ли использовать встречу? – Последствия гучковского письма. – Кандидаты в начальники штаба Верховного. – Гучков открывает замысел.

В ресторанном кабинете – совсем как дома: вся домашняя непринуждённость, но и свобода от дам, мужской деловой разговор, и ни ушей, ни глаз посторонних. А ещё удивительней, по сравнению с надоевшей окопной едой да и с офицерской столовой в Ставке, – то, что здесь предлагалось. На удлинённом столе на шесть персон к их приходу уже расставлены были: осетрина копчёная, осетрина варёная, сёмга розовая в лоске жира, давно не виданная шустовская рябиновка – она существовала, оказывается! она не исчезла вовсе с земли. Да что там, в углу на табуретке стоял под большой раскинутой салфеткой обещающий бочонок со льдом. Весь вид был – нереальный.

Пока Гучков ходил к телефону, Свечин оценил:

– А он – не лицемер. Деньги есть, торговые связи есть, зачем притворяться?

Хотя внизу они уже вычерпали уху – а вот когда оскалился в них настоящий солдатский аппетит, который и три обеда проглотит.

Гучков, воротясь, заметил выражения друзей и добавок весёлости в них. Усмехнулся:

– Что ж, судари мои, Россия-то не обедняла, в России всё есть, только не на своих местах. Правительство с перевозками не справляется, а мы – пока справляемся. Кому чего соблаговолите? А впрочем, я человек больной и неповоротливый, давайте-ка по-дружески, распоряжайтесь сами. Виктор Андреич! Георгий Михалыч!

Не забыл. А сколько уже не виделись.

Не понуждая уговаривать себя дальше, пошёл Свечин к бочонку, вынул изо льда бутылку водки да прихватил и вазочку зернистой икры.

– Что там за взрыв на «Марии»? Отчего? – сразу спросил Гучков у Свечина.

– А что, напечатали в газетах? – шевельнул бровищами Свечин.

– Да, в сегодняшних.

Друзья и не видели.

– Это случилось ещё 7 октября, – вставил Воротынцев. – Мне в дороге рассказывали.

– Ну вот, а мы, обыватели, узнаём только из газет, – поморщился Гучков, и это недовольство как нельзя лучше шло сейчас к его лицу.

А Свечин смотрел жестоко:

– Ничего не выяснено. Причина неизвестна. И броненосец потерян. И пятьсот моряков.

– Но странно совпало, – предупредил Воротынцев, – именно в те дни, когда немцы наступали на Констанцу.

– Но есть и продолжение, – черно сказал Свечин. – Только что произошёл крупный взрыв на пароходе в архангельском порту, ещё не напечатали? А там – склад взрывчатых, и могло распространиться на весь порт.

– Ого!

– Да это что ж, единая шайка работает? Что ж, мы так беспомощны? – ужаснулся Воротынцев. Вдруг представил ещё стену этих невидимых опасностей от тайных врагов, о чём на фронте не думаешь, как же ещё с этими бороться?

– С этим правительством! – фыркнул Гучков. – На что оно способно?..

Показалось Воротынцеву верно: с *этим* бороться неспособно наше правительство, да ещё заклёванное.

Сели за одной половиной стола – Гучков на торце, друзья по обе стороны, три прибора оставляя для отсроченных гостей.

Наливал Свечин Воротынцеву и себе, а хозяину – спросясь.

– Губы помочить, – печально отвечал Гучков.

– Да-а, за вашей болезнью мы следили, – с участием кивал Воротынцев. – Вся Россия следила, Александр Иванович. На Новый год было страшно за вас – в пятьдесят четыре года?!.. Миловал Бог.

Те бюллетени о смертельной болезни в газетах утренних и вечерних дали Гучкову отве-
дать необыкновенного тепла, принять этот голос не партий, но самой России, эту лавину
нежданных писем из разных концов страны, от незнакомых людей: живи, Гучков! твоё дело
нам нужно! (Потёк и такой слух, что его отравила распутинская банда.) В провале немощи
испытал он свою высшую силу: в покорной подначальственной стране, не имея ни чина, ни
власти, ни солдат, в облаке чёрных анонимок справа и слева («удавись добровольно, пока мы
тебя не убрали»), под полицейским надзором и в болезнях, – единственный и особенный чело-
век на всю Россию, он заставил бояться себя императорскую чету и сменных министров!

Прилив сочувствия ото всей общественной России сразу – это, может быть, и спасло его
на одре. Но когда при каждой встрече каждый с жалостливыми глазами спрашивает тебя о
болезни – даже и досадно это сочувствие стойко-здоровых людей, кто болезни может лишь
вообразить со стороны, удивляясь им. А если болезней у тебя ещё и не одна, но несколько их,
как в насмешку, накинуты на твоё неутомимое тело, будто вериги под европейским костюмом,
и пока ты грустно улыбаешься в ответ на сочувствия – они, звено за звеном, сжимают и гнут
тебя круче, чем ненависть династии или распря с кадетами?

– Весной ещё долечивался в Крыму, – кивнул. – Такой радости доставить Алисе не хочу.

Он зримо гордился, как он насолил императрице.

Гучков в глазах Воротынцева был редкий на Руси характер: он соединял в себе те две
смелости, которые обе сразу почти никогда не даются русским: природную им военную сме-
лость и непривычную гражданскую. (Правда, и за собой Воротынцев такое соединение знал.)
Да только так и можно сдвигать наши глыбы. И – собран волею был Гучков. Но смутнее с его
взглядами: и сшибался с кадетами, и как-то сливался с ними. Давно не виделись – и Гучков
мог сильно измениться за эти годы.

Неторопливым мягким голосом, через пенсне на Воротынцева внимательно:

– Полком? Где вы теперь?

– Да хуже не придумаешь, на самом левом фланге Девятой, – нахмурился Воротынцев.
За дни поездки отвык, будто это где-то *там*, а не у нас.

Малыми бережными движениями покачал Гучков.

– Не скажите. Есть и хуже.

– Где же?

– Кавказский. Вот еду сейчас. Приватно пишут мне: косит тиф. Медицинской помощи
не достаёт. С провиантом и фуражом – плохо. – И с большим значением: – А – почему всё?
Почему именно *на них* не хватает?

Не бралось в ум. Почему – особенное почему?

А Гучков так и выдавливал особенное значение, остро отблескивало пенсне:

– Не догадываетесь? *Кому* это месть?

Только тут наконец невразумительно передалась Воротынцеву мысль: Николаю Николаевичу? – царица? Неужели уж от неё так прямо зависит? И неужели такое возможно представить: из-за одного великого князя мстить всему Кавказскому фронту? всем солдатам? Нет! это был наговор, чрезмерность. Гучков в своей ненависти к императрице тоже меру терял.

Неприятно.

А Гучков ещё настаивал всем видом:

– Вот поеду, сам посмотрю. Дай Бог, чтобы преувеличивали.

И взял маринованный грибок, ел осторожно.

Кажется – довольно полон? Нет, отёчен. Всё ещё нездоров, сильно подорвался. Это нездоровье смущало: может быть и сил у него уже нет?

А положение исключительное: центр общественной жизни, с Главнокомандующими фронтов запросто, с начальником штаба Верховного – запросто. Если что-то предпринимать – кому бы, как не ему! Но если болен?

– Да! – вспомнил Воротынцев. – Я Москву проезжал – там про вас упорный слух, что вы арестованы.

Гучков улыбнулся, как будто довольный:

– За письмо Алексееву? А вы читали?

Воротынцев подтвердил, однако уже и без восторга. А Свечин – только кивнул безвольным булыжником головы. Он распоряжался, ещё к бочонку вставал, пил и рябиновку, ел много, сильной хваткой.

Да и Воротынцев. Распускались фронтовые кости. Медлительная тающая солёность сёмги. Как хорошо. А через пяток дней – снова шлёпать по мокрым окопам, толкать людей – опять на безнадёжность. *Думает* что-нибудь Гучков? Не думает?..

А тот сплёл кисти на подъёме заметного-таки животика, пожаловался:

– Вот такая теперь жизнь. Напишешь официальному лицу письмо. Ну, натурально, покажешь одному-двум знакомым, имею я право? Например Родзянке – уж кто престолу преданней? он из преданности хоть и Царское Село сожжёт, если нужно для охраны царской чести. А вот – разгласилось, запорхало, сперва по Думе, там и по России, читают и в Самаре, и в Нижнем. А уж в Москве и в Питере – только что на стенах не развешивают. – Улыбался слабо-лукаво, но от печали всего лица его улыбка не радовала. – Вот и вашу тогда тираду в Ставке – вы бы в своё время записали, показали бы трём друзьям...

Воротынцева и поскребла манера, как Гучков был доволен этой разгласкою, но и приятно было, что вспомнил о его подвиге. Однако никогда б не пришло ему в голову такое, это у них – газетная хватка.

– Да какое б я имел право? Военная тайна.

– Вот тайной нас и душат, – с оттенком боли, может быть и телесной, вздыхал Гучков. – Государственной тайной. А между тем тогда – ещё не поздно было всё спасти. Ещё верили все – во всё, и Россия была готова всё одним плечом поднять.

А теперь – неужели поздно?.. Коронованный народным доверием должен знать время каждому действию и каждому слову, когда его произнести на всю Россию.

– А хорошо вы их тогда почистили за всех нас. Не жалеете?

– Нисколько. Никогда, – быстрым глазом метнул Воротынцев.

Правда не жалел. Правда.

Свечин держал губы косовато.

Тут вошёл метрдотель уточнить у Гучкова о винах: подавать ли Шато Ляфит к паштету из гусиной печени, Пишон Лонгвиль к баранине по-нивернуазски? Это явно относилось уже к следующему обеду, не их, уж слишком причудливо для фронтового вкуса, то был обед другого класса.

Гучков произносил фразы по смыслу энергичные, а тоном усталым:

– Вот нас тайна и довела, что оставались без снарядов. Я в Четырнадцатом предупреждал – в Думе верить не хотели. Так что справедливо хочет Россия гласности наконец.

Свечин кинул:

– Уж если в России вам гласности мало – не знаю, какую вам гласность.

– А что же? Достаточно? – изумился Гучков.

– А что же – мало? – прокатал и Свечин глазищами, каким никогда не понадобится очков, и пенсне бы посадить – смехота. – Газеты распушены, как ни в какой Франции и ни в какой Англии во время войны. И вполне безответственно. Дутые известия, никем не проверенные, и всегда подрывные. Врут, что мы бесконечно отстали и разоружены, даже не замечают нашего промышленного чуда. На правительство – сплошная брань. Какой номер ни развернёшь – хуже нет, как в нашей стране, и глупее нет наших министров, и всё проиграно, и нет спасенья иного, как передать власть кадетам и Земгору. Это не свобода слова, а просто понос. И всю Россию будоражат, и армию. И все газеты – левые.

Это он верно порубывал, но зачем с таким раздражением к Александру Ивановичу? Кажется, Свечина что-то раздражило ещё с самого гучковского прихода – то ли шутка о заговоре, ещё в нижнем зале, то ли о младотурках, упоминания которых Свечин не любил. Порубывал, не сдерживаясь:

– С вашими младшими братьями кадетами очень гордитесь, как всё колеблете и раскачиваете. Смотрите, на голову бы не свалилось.

Гучков не обиделся, но развёл пальцами, ища у Воротынцева справедливости. Уж если ему братья – кадеты, с кем он одиннадцать лет непрерывно сражается... Он знал о предмете слишком многотрудно, чтобы переговаривать плоско. Не по рангу ему было оправдываться перед этими офицерами и походило бы на злословие сказать о Милюкове, что у того нет мужества убеждений и прямоты действий, что он всё провалит, к чему прикоснётся. Или о 4-й Думе, что она не способна ни сотрудничать с правительством, как 3-я, ни как следует поспорить с ним: поглянется, будто он от обиды, что самого не выбрали. (Да не всегда и сам уследишь за собой: прошлой осенью может быть именно то, что его не выбрали от московского общества даже и в предполагаемую делегацию к царю, что он так пошатнулся в своей же Москве, – может быть и толкнуло его на мятежные шаги и на конспирацию.) Год назад, да чуть ли не сегодня же, 25 октября, предлагал Гучков этим младшим братьям объединиться и вместе идти на последний разрыв с властью, – где там! Их желание стать правительством превышает их готовность рисковать собой. Прошушукались год по частным квартирам, чтобы только сохранить Прогрессивный блок.

Вот какой жест был у Гучкова: он козырьком ладони пригораживал лоб, как бы от лишнего света, от верхней лампы, то ли сосредоточиваясь, – упирался локтем в стол и так сидел.

Но в этой позе энергичный Гучков выглядел потерянное тех кадетов. Оттого ли, что в своей неукладистой деятельности уже столько раз расшибался о стену?

А Свечин раскраснелся со всей крепостью дюжего подвыпившего человека и не проявлял жалости:

– И они и вы Россию раскачиваете, неизвестно кто больше. Все – патриоты, все – за победу, и безопасно для себя. И эти *письма* – очень не к добру бывают.

Вдвоём со Свечиным уже налаживался разговор! – так Гучков перебил. Теперь втроём могло начаться самое интересное! – так Свечин выбрыкивал. Однако его резкостью ещё приосветилось Воротынцеву в *письме*: сходство с кадетскими газетами, да. Верно, как бы соревнование, кто крикнет громче.

Он замялся, смутился, не удержал Свечина от его тона. А ещё оттого ли, что они пили, а Гучков нет, – создалась разница температур и громкостей. И без надобности громко Свечин:

– Так и Сухомлинов. Ну конечно он дурак, и мотылёк, и не место ему в военных министрах, но вы уж настолько ничего не жалели, чтоб его сшибить, вы в бою всё забываете, только б ударить крепче.

– Это есть, – слабо улыбнулся Гучков.

– И саму Россию! И при чём этот Мясоедов, никакой не шпион? Чтобы только сбить министра – во время войны играть шпионажем вокруг военного министерства? Как это можно?

– Он – доказанный шпион, – построжал, похолодел Гучков.

Воротынцев перехватил, что Свечин распаляется и тут спорить. Сам он – подробностей о мясоедовском деле не знал, в газетах читал глухо, смутно, – но только не дать сейчас разломаться всему разговору!

– Важней всего, – остановил он Свечина, – не кого Гучков разоблачает, а что Гучков реально сделал для армии.

Но Свечин, всегда скептически выдержанный, уж если распалится, то как никто, не обуздаешь:

– Да и с военно-промышленными комитетами меньше бы вы цацкались, Александр Иванович. Всё конвенты завариваете.

Гучков отнял козырёк ладони задетым жестом:

– А кто же «промышленное чудо» вам делает, если не промышленные комитеты? Своим участием в них – я горжусь.

– А почему за всё дерёте в двадорога? Почему казённая пушка стоит 7 тысяч, а ваша 12? Всей общественностью проталкиваете через министерство высокие цены. И строите заводы, где и не нужны, только бы казённые погубить. А железнодорожными планами 1922 года – зачем ваше дело заниматься? А социал-демократы зачем там сидят при вас? Неужели о победе радеют? А не вынюхивают, как всё взорвать?

– Рабочая группа? В том и замысел, что лучше пусть они около меня сидят помощниками и консультантами, чем по улицам с красными флагами. Что же делать, если власть... Я знаю эту власть: правительство и само ни к чему не способно, и не желает протянутой ему помощи. При этой власти, если не вмешаться нам, – победа будет невозможна.

Что он хотел сказать – «не вмешаться»? Или – только о промышленном комитете? Воротынцев зорко следил, хотел проникнуть, ничего не пропустить. Но опять его скребануло – а! цель – победа! Но «всё для победы» ещё не значит – для России. А если, по гучковскому же письму, война так безнадёжно организована – как же сметь её продолжать?

– Да вы сядьте на место правительства – ещё вззоете! – Уже и стул был Свечину неподвижен, он закачался на задних ножках. – Что б за правительство, грош бы ему цена, если б оно вам во всём уступало? – хоть там самые реакционные министры сиди, хоть самые либеральные. Если министры – то и должны управлять они, а не парламентские ораторы и не промышленные комитеты. А у вас каждый самовольный съезд – только чтоб давить на правительство и давай четырёххвостку! Ниспровергать власть – это у вас выполнение «гражданского долга перед Родиной».

Как круглый сильный камень свалится, скатится под самые ноги и перешибает путь, так и Свечин сегодня перешибал всю желанную, задуманную встречу с Гучковым. И осадить его было трудно, потому что разогнал, пьянея, и потому что, чёрт, во многом прав. Хотя и: правительство действительно бездарно, вот в чём ужас.

Но, как бы не замечая его резкости, Гучков отвечал выдержанно:

– Однако и организованной общественности, если она состоит на службе родине, естественно требовать себе и политических прав.

Свечин с разгорячённой мрачностью качался на задних ножках стула:

– Да просто почувствовали, что власть без опоры, – и все лезут захватывать. Ослабла власть – значит и хватай за горло. Во время войны – немедленно менять им государственный строй, во как! С ума посходили!

Свечин отвечал Гучкову – а так получалось, что – Воротынцеву? Чего Воротынцев ещё не высказал, ещё не предположил вслух – а Свечин уже отвечал?

Да не строй менять, а... А что именно менять? При неизменном, допустим, монархе – а правительство новое, – что ж, из кадетов? Не для них же стараться. Вот это главное бы тут обсуждать, а разговор сбивался. Так удачно исправленные обстоятельства встречи с Гучковым нельзя было дать упустить, нельзя разойтись впустую! Но положение Гучкова было несравненно, и это ему решать, заговаривать или не заговаривать *о таком*.

Гучков укрепил пенсне при выкатистых глазах:

– Но выиграть войну с этим бездарным правительством – действительно невозможно!

Ну конечно он *думал*! У такого человека не могло не зреть в голове что-то переворотное!

– Чем же выиграть? – Свечин с раскачки пристукнул передними ножками стула о пол, как зубами, – тем, что искры по соломенным крышам бросать?

Тут внесли бульон и блюдо горячих пирожков. Сразу запахи – ах! Кажется, только что по ухе съели офицеры, но теперь и по чашке огненного бульона охотно наливали из судка. Да под бульон хватанули ещё отвычной ледовой водки. Хор-р-рошо!

Это всё – примиряло. Свечин перестал качаться.

Гучков тоже, с удовольствием нездорового, потягивал горячий бульон.

– Нет, конечно, – говорил он, когда лакей вышел. – Я именно против всякого поджога. Как раз этого и не понимают кадеты: что революционную мысль нельзя швырять в массу.

Вот это Воротынцеву очень нравилось: Гучков не ждёт сотрясений пассивно, как кадеты, но хочет активно их предотвратить. Вот на это он и надеялся с Гучковым.

Свечин – примирительней:

– Чего-то они, Александр Иванович, не понимают, а что-то лучше вас. Я по себе скажу, что иногда мы сами не отдаём себе отчёта, а проводим чужие мысли. Просто незаметно находимся в их влиянии. Вам кажется – вы развиваете независимую смелую там программу, – а на самом деле примитивно идёте по какому-нибудь масонскому замыслу. Вы сами, честно говоря, хотя всё равно не скажете, – не масон?

Шутил – а и не шутил, досматривал.

Но вид у Гучкова был откровенный, лоб ясный. Тоже усмехнулся:

– Честно говоря, мне лично не предлагали, или когда-то несерьёзно. Хотя чувствую, что кто-то где-то за чем-то вступает. Но я б никогда не вступил. Я – монархист, и уже поэтому не мог бы быть масоном. Масонство – это моральная нечистота: смотреть людям в глаза и обманывать их. Немужественная игра. Хочешь действовать – действуй прямо, открыто, а зачем по закоулкам, в масках? Мне кажется, историю можно делать и объяснить без масонских тайн. Добиться сдвигов в ней – прямыми, ясными действиями.

Прекрасно сказано! Воротынцеву очень понравилось. А если уж – Гучкову не предлагали, то все эти неопределённо-смутно страшные масоны сразу теряли в объёме, сжимались в уголок.

А у Свечина была манера, выпив и в кругу своих, становиться особенно перёчным и жёстким, высказываться гораздо дерзей, чем он разрешал себе на службе:

– Всё равно, Александр Иванович, не радуйтесь. Вы и безо всякого вступления, совсем невольно и безсознательно можете отстаивать не масонскую линию, так еврейскую. Вам кажется, что вы самостоятельны, а вы...

– Я-а-а?

– Да-а-а! У евреев такая хватка есть: ни одного важного узла действий, ни одной важной личности не упустят, чтобы не пытаться её направить. Уж чего там Распутин, а вошёл во вли-

яние – и его обсели. А уж вас!.. Ну, проверьте, в вашем отношении к правительству какая с ними разница? А им просто – наплевать на русскую судьбу.

Гучков поставил твёрдо локти на стол.

– Как раз тут одна из границ между кадетами и нами.

– Да какая же? – задира Свечин.

– А вот. Для кадетов еврейский вопрос – почти первый политический вопрос. Он и партийную программу у них открывает. Кадетов послушать, так главная цель войны – это еврейское равноправие, а не существование самой России, чтоб устояла она вообще. Тут все кадеты как в одной капле. В трёх Думах они не давали провести крестьянского равноправия без еврейского, так и утопили! Кадеты в голову не вберут, что эти два равноправия для России всё-таки не равно спешны. Не равно задолжены. А мы...

– А вы с ними не меньше нóситесь! – большой ладонью отмахнулся Свечин. – Все адвокаты – евреи. В Думе в журналистских ложах одни евреи сидят. Если они так угнетены, как же им доверено выражать и внедрять общественное мнение России? Несколько хилых правых газет издаются на *тёмные* деньги, а вся либеральная пресса – на *светлые* деньги? Откуда эти деньги? Да еврейские! Вот – и направляют газеты. Посмотрите, кто издаёт. Черта оседлости второй год не существует, все города и столицы ими переполнены. С этого года и университеты есть – где шестьдесят процентов евреев, где восемьдесят. И торговлю им распахнули, вся торговля через них. Завод князя Путятина! – кстати, плохие шрапнели, – а это выпускает Рабинович, заплатил Путятину за имя. И сколько таких заводов у вашего промышленного комитета? А еврейские сахарозаводчики гонят русский сахар тайком в Германию! Где, к чёрту, загнаны? Они – пружина напряжённая. Она вот-вот отдаст – и удар будет страшен!

Гучков удерживал невозбуждённый тон, поднял останавливающий палец:

– Пружина отдаёт, если на неё слишком жать. А не надо жать.

– Вот-вот, – опять покачивался на стуле, опять качался на своём упрямый, насмешливый, невозможный Свечин. – Вы их и приглаживаете. Вот вы с ними вместе громко разносите и правительство и Государя – а о *них* вы посмеете вслух промолвить хоть осьмушку того? Да никогда! А почему? Вот это и называется – страх иудейский! Загнаны! Они нам ещё на голову сядут! Этот избранный народ на чью палубу всходил – тот корабль бортами черпал. Так и Россию погубят.

– Нет!! Нет! – вмешался тут Воротынцев. – Так не поворачивай. Если мы теряем свой путь и катимся не туда – то сами и виноваты. – Досадно, вся редкая встреча поворачивалась вхолостую и кончится ничем. – Я много лет замечаю: еврейский вопрос – это такой колючий, растопырчатый вопрос, что его и миновать ни на какой дорожке нельзя, и решить нельзя, и никто не остаётся равнодушным. А между тем...

Гучков снял пенсне и протирал его, как бы терпеливо именно его рассматривая. Без пенсне его лицо было и открытее в болезни и печали, но и глубже:

– Тонкая особенность еврейского вопроса, что невольно поддаёшься и не можешь не признать, что он – самый важный, самый острый, самый первый и характерный. Самый определяющий для суждения о людях, об их политическом и даже нравственном лице. И что только после решения еврейского вопроса дальше легко разрешатся и все государственные, – улыбнулся Гучков. – Так вот, кадеты поддались, и всё это приняли. Но и вы, Виктор Андреич, поддаётесь с другой стороны.

Нельзя уже было проще оторвать их от спора, как подкатить скорей к простому решению. Подхватил Воротынцев, быстрее проговаривая:

– По еврейскому вопросу все спешат занять только одну из двух самых крайних позиций. Или: евреи – это невинно страдающая масса благородных характеров, которых надо как одно целое непременно любить, и даже отдельных недопустимо порицать, ибо упрёк разложится на всех. Или: это – сплошь тёмные, злобные заговорщики, которых как единое целое можно

только ненавидеть, и подозрительно, когда любят хоть отдельных из них. И всякая попытка ввести оговорку, не сплошь нежно любить или не сплошь страстно ненавидеть, отталкивается с негодованием каждой из сторон. Но в тысячах вопросов бывает плодотворна лишь средняя точка зрения. И неужели правда, господа, тут невозможно устоять посередине? Вот я считаю, что я стою прочно посередине. Я – решительно никогда не соглашусь отдать Россию евреям под снисходительное руководство, даже только интеллектуальное. Но я никакого зла против них не имею и никакого желания их притеснять.

– Значит – послабить? – громогласил Свечин с непокидающей жёсткостью. – Так сразу они на голову и сядут! Вот в этом и секрет, понимаешь? – они *не могут* и никогда не согласятся по-равному. Как только им послабишь – сразу на голову!

– Мне кажется, – сосредоточился Гучков, разглядывая своё пенсне как самую большую загадку, – и я тоже занимаю среднюю позицию. Я... и мои некоторые единомышленники... мы понимаем вот как. Евреи – нам посланы. Не во всякой стране их шесть миллионов, а у нас вот есть. Зачем-то надо было, чтобы жребий русский и еврейский переплелись. Расплетутся ли когда или нет – не знаю. Чтобы злорадно назвать, как Герценштейн, пожары усадеб – «иллюминациями», надо быть, конечно, чужой душой. То, что для нас боль, тёмные мужики не понимают, что делают, Россия жжёт и громит сама себя, – а для депутата русского парламента... Ну, что о покойном... Затем, я не стану утверждать, что евреи в целом нас любят. С другой стороны, признаюсь, что и я их, в общем, больше – не люблю. Но: они – нам посланы. И поскольку государство – наше, мы должны это переплетение решить приемлемо для всех. В Европе? – с ними обращались жёстче, чем у нас. Черта оседлости? – когда была, нисколько им не мешала засилить торговлю, промышленность и банки. И наша страна во время войны зависит – от международных еврейских денег. И в периодической печати они всеильны, да. И художественная, и театральная критика – в их руках. И невозможно пустить их в офицерство, это опасно для нашего духа. Впрочем, они туда и не стремятся. И нельзя дать им больших земельных владений. И тем не менее это не значит, что мы должны их притеснять.

– Вы и не заметите, – горели чёрные глаза Свечина по обе стороны крупного, сильного носа, – как всё уступите. Вот так, как в промышленных комитетах сбились от помощи фронту на расшатывание власти. Так вы – и бросаете искры по крышам, Александр Иванович.

Как человек, не глухой к поиску своих ошибок, Гучков не спешил запальчиво возражать, а в одной руке всё так же держа витиеватый защем неразгаданного пенсне, другой ладонью опять перегородил лоб, может быть не от света, а от громкого собеседника. И как бы ещё проверял сам с собой:

– Но не можем мы отказаться от Освободительного движения из-за того, что и евреям оно нравится, и они к нему примкнули...

И Воротынцев:

– Ты тоже как кадет, только наоборот. Улупился в крайность: евреи, больше ничего не видишь. Об этом я и в Буковине мог собеседников набрать. Да я тебе несколько вопросов назову, и все важнее еврейского. Ехал я две тысячи вёрст, встретил вас обоих так неожиданно, чтобы...

Чтобы?

Гучков освободил от козырька, приподнял на Воротынцева немолодые, неживлённые карие глаза с выкатом, пожалуй тоже нездоровым, но самый взгляд – взгляд бойца.

Отчего он так сразу и внимательно посмотрел? Он неспроста посмотрел.

...Чтобы?..

Да такие, как Воротынцев, – неужели ж ему не нужны?

Хотя закралось теперь: а под *то*– понимает Гучков то или не то?..

...Чтобы?

Да господа, да неужели же мы, такие решительные, умные, энергичные люди, – и не сумеем ничего придумать? не сможем спасти дела?..

Внесли большим куском ростбиф, обложенный зеленью.

Гучков не стал его есть. А приятелям – отрезали, и они приложились трудиться.

Пока лакей был – помолчали, но и когда вышел – что-то разговор не возобновлялся. Свечин вдруг замолчал так же круто и безповоротно, как перед тем говорил. Ел с удовольствием. Гучков очевидно берёт аппетит на следующий обед, или вообще мало ел. Чуть-чуть пригубливал красное вино – и тоже молчал. Воротынцев – не мог говорить прямо, но надо было под-держать в том направлении:

– А интересно, Александр Иванович: Алексеев – ответил вам на ваше письмо?

Гучков задумчиво постукивал снятым пенсне по пальцу:

– Нет. Но. За него ответил Штюмер.

– Как так?

– От имени Верховного запретил мне въезд в Действующую армию. Даже к санитарным поездкам. Ну, тем более, конечно, в Ставку. И в штабы фронтов. Это они хорошо рассчитали удар. – Шурился. – Без армии я – что?

Не удержался Свечин, и тут поперёк:

– А вы бы на их месте как? Были бы вы глава государства, и вот некий частный деятель пишет начальнику штаба ваших вооружённых сил, что ваша дрянная, слякотная, жалкая власть гниёт на корню, – и вы б его пускали дальше армию разлагать? Они ж вот вам на Кавказский не препятствуют...

Гучков не спешил возразить. Без пенсне лицо его было безоружное. Складывал усмешку или жаловался:

– Предупредил Штюмер и о возможности высылки из столицы. А уж следит за мной департамент полиции – наверно, ни за какими бомбистами никогда... По телефону и в письмах блюду осторожность в именах. С друзьями, с братьями кое-кого зовём кличками. Не удивлюсь, Георгий Михалыч, что и вы уже на заметке, если несколько раз телефонировали. На всех посетителей дома ведётся реестр. Вот сейчас, не сомневаюсь, за моим паккардом гнали филёры на лихаче и теперь у подъезда дежурят.

– Ну, Алексею тоже досталось, не думайте, – упрямылся Свечин. – И с Государем у него, конечно, было объяснение.

– Как он может переписываться с таким мерзавцем, скотиной, коварным пауком? – грустно, через силу улыбался Гучков.

– Наверно. Примерно. И Алексеев, надо думать, отрёкся от вас.

Гучков поднял брови. Опустил. Узнавая. Что ж, политическая борьба – она такая и есть.

– И заболел во многом от этого.

– Ну не совсем так, ты говорил!

– Про болезнь я слышал, – кивал Гучков.

– И теперь, наверно, уйдёт в длительный отпуск, лечиться.

– В отпуск? – насторожился Гучков. И сразу: – И кто же вместо него? – С нескрываемым значением, неспроста.

Да, в самом деле: кто же? Ещё бы не важно.

Свечин любезно:

– Открою, что слышал, только конфиденциально. Могли бы поставить, конечно, любого остолапа, но кандидатуры, по слухам, обсуждаются такие: Головин или Рузский.

Головина?... Неужели подымут? Нашего?..

Гучков насадил пенсне. Оно заблестело повеселей:

– Головин – это бы замечательно.

Для Воротынцева каждое слово Гучкова шло по другому разбору: замечательно? А – для чего? В каком смысле?

– Корпусами смело будет двигать, – предсказал. – А сам будет двигаться очень осмотрительно. Он сильно изменился, господа. Он там у нас сейчас, генкварт Девятой. Он всегда должен действовать с дозволения начальства, иначе его способности как бы подавлены.

– И надолго это? – спрашивал Гучков очень заинтересованно. – А вы, Георгий Михалыч, в этом случае как? Не попытаетесь вернуться в Ставку?

Догадался... Воротынцев энергично потёр щётку бороды, выражая глазами больше, чем словами:

– Во-первых, захочет ли Головин? И – он ли ещё будет? Во-вторых, окажется потом недоволен Алексеев. А в-третьих – нужен ли я там, Александр Иванович? *Там* ли я нужен? Как это правильно понять?

И смотрел на Гучкова с ожиданием и надеждой.

– Рузский? – перебирал тот как своих подчинённых. – Вяловат. И слишком эгоист. А – кто ещё может быть?

Покинуло Гучкова бездеятельно-грустное, гражданско-домашнее выражение. Собрался он, поживел. Сосредоточился.

– Да что ж вы не курите, господа? Вероятно ведь курить хотите.

А у них обоих давно пальцы чесались, но щадили Гучкова. Теперь Свечин дотянулся форточку открыть. Задымили, Свечин трубку. Развалились.

Гучков тщательно прошёл тугой крахмальной салфеткой по губам, вокруг губ, под усами, по верху бороды. Отложил.

Поднялся. С рукой за бортом сюртука походил, едва заметно прихрамывая, по небольшому пространству, несколько шагов тут было. Он на глазах твердел и даже молодел.

Снова сел. Руки собрал в замок перед собой.

– Господа. Надеюсь, я могу рассчитывать на ваше молчание во всех случаях? Возьму с вас слово чести?

Да, конечно, разумеется.

И – чуть задорно голову назад, знаменитый дуэлянт. Седина у него только чуть прорисовалась – по переду бобрика и по краям бороды.

– Господа, я не вижу препятствий поделиться с вами соображениями, что ещё не упущено... совершить.

Так! Дождался Воротынцев часа своего! Не опоздал. Был здесь.

Гучков больше на него и смотрел.

С сознанием своей славы и власти в этой стране.

И с огоньком того риска, той вечной потребности в риске, что вела его через всю жизнь.

– Я хотел бы обсудить с вами: что должны делать патриоты, если видят, как в тяжкий час родину направляет режим фаворитов шутов? Что должны делать смелые люди с положением, влиянием и оружием? Люди, которым всё дано, но с которых и спросится историей?

41

(Александр Гучков)

Род Гучкова. – Убить Дизраэли. – Молодость Гучкова. – Нигде не свидетель, везде участник. – Его первые советы трону. – Как прошёл Манифест 17 октября. – «Союз 17 октября» и его программа. – Как её толковали Шипов и Гучков. – Поражение октябристов на выборах в 1-ю Думу. – Урок Шипова. – Гучков приближается к Столыпину. – Второй приём у Государя. – Гучков поддерживает военно-полевые суды. – Поддерживает закон 3 июня 1907. – Кто виноват в неудачах Японской войны. – Состояние армии. – Положение офицерства. – Робость военных реформ. – Гучков содействует им. – Атакует великих князей. – Теряет расположение Государя. – Феноменальность гучковских думских речей. – 3-я Дума и доброжелательство между обществом и властью. – Гучков в защиту Столыпина в 1909. – В обличение террора. – Вокруг взрыва Петрова-Воскресенского. – Особенности парламентского центра. – Союз правых и левых против крестьянских реформ. – Гучков – председатель Думы. – Неудача с Государем. Хлопнул думской дверью. – Отшат от Столыпина весной 1911. – Запрос об убийстве Столыпина. – Запрос о Распутине. – Враг императорской чете. – История и дуэль с Мясоедовым. – Провал октябристов и Гучкова на выборах в 4-ю Думу. – Гучков меняет линию борьбы: примирение с властью невозможно. – Гучков покинут. – Его балканские попытки. – В эту войну. – Бьёт тревогу в 1914, втуне. – Укрепляется в 1915. – Опережая кадетов в оппозиции. – Дворцовый переворот?..

Фёдор Гучков, дед Александра, был крепостным дворовым человеком малоярославецкой помещицы. В конце позапрошлого века, тринадцати лет, он попал в Москву и был отдан учеником в суконную лавку за 20 копеек в месяц (гривенник помещику, гривенник ему). Женился на крепостной, выкупил себя и семью, устроил в Преображенском шерстяную фабрику с английскими станками. В семье считалось, что мысль поджигать Москву с подходом Наполеона принадлежала ему. Всё сгорело – но он всё возобновил и расширил. Однако ещё при жизни оставил фабрику и торговое дело сыновьям, а сам был сослан в Петрозаводск за упрямое старообрядчество. Сын его Иван, полюбив замужнюю француженку Корали Вагез, переодевался кучером, чтобы проникнуть в её квартиру на кухню, – и так увлёк её, увёз от мужа и женился, всем этим порывая со старообрядством. От того брака было четверо сыновей, среди них и Александр. Хотя и этот не вовсе выбился из плоти московского купечества, состоял членом банковских и акционерных правлений и директоратов (впрочем, не был богат, наследство уступил брату Фёдору, и отец не считал его хозяином), – жизнь Александра сложилась необыкновенно для его рода и окружения, лишний раз убеждая, что наш характер и есть наша судьба.

Уже гимназистом он испытал немалые общественные страсти. В семье его, как бывшей крепостной, было поклонение Александру II – и после выстрела Засулич Саша Гучков в школе заступился за правительство: стрелявшая подняла руку на доверенное лицо Государя! Соученики побили его за это. Но вскоре же понял он и сам неотвратимую прелесть террора: от позора

Берлинского конгресса, английского флота в Босфоре, Саша решил своей рукой убить Дизраэли за антирусскую политику, во имя чести России. Купил револьвер, учился стрелять, готовил деньги на побег в Англию – и восторгался счастьем пережить казнь за Россию. Но доверился брату, брат выдал отцу – и всё разрушилось. (Через тридцать лет главою нашей думской делегации в Лондоне остановился перед памятником лорду Биконсфилду: «А ведь ты мог погибнуть от моей руки!»)

Окончив московскую гимназию с золотой медалью, затем и московский университет «кандидатом» (то есть тоже с отличием), он ещё пять лет ездил в Германию доканчивать там образование, слушать семинарии философские и экономические, и притом написал несколько работ – об общественном землевладении, о страховании, о хозяйственной жизни древнего Новгорода, и доискивался (как бессознательно предчувствуем мы сами себя): участвовала ли Екатерина в государственном заговоре Мировича? В 23 года Гучков сдал в гренадерском полку экзамен на прапорщика, и это не было простым отбытием повинности университетским человеком, как и в 26 лет не случайно было избрание почётным мировым судьёй Москвы, в 31 – членом московской городской управы: гражданская и военная деятельность пересеклись и переплелись на жизни Гучкова – парламентского оратора, государственного человека, армейского застойника, солдата, отличного стрелка.

Можно понять, что очень рано и с болью он осознал распространённое русское интеллигентское свойство – не шибко любить *делать дело*, больше о нём разговаривать, спорить, а если уж и взялся, так не доделывать до конца, прощать себе и другим оставшиеся вершки. Может быть от крепкой крестьянско-купеческой натуры ощутил в себе Александр Гучков способность и волю: делать и доделывать. И в то время, как бывший его университетский товарищ Павел Милюков всё больше сладости находил в диспутах и лекциях, Гучкова из библиотек и аудиторий срывало к студенческим дуэлям в Германии, к бою, и к делу. Никогда не свидетель, везде – участник, и даже сорвиголова.

Услышав о голоде в России, покидал он берлинский университет – и кидался в нижегородскую глушь: стать волостным писарем и кормить деревню. Резали турки армян – Гучков кидался туда. Опасна охранная стража на сооружаемой Маньчжурской железной дороге – Гучков, покинув муниципальную деятельность в Москве, уже там, служит офицером и даже ищет боевых столкновений. Отсюда *близко* Тибет – и он странствует к заветным местам его. Его мучит поиск грандиозного. Началась далёкая романтическая бурская война, кто-то волнуется над газетными депешами, кто-то поёт «Трансвааль в огне» – Александр Гучков с братом Фёдором уже добровольцами среди буров, и даже храбрые буры удивляются его самообладанию в бою: под картечью он остаётся распутывать постромки зарядного ящика, высвобождая мулов из гибели. За все эти годы не раз приходится ему писать прощальные письма родителям на случай своей неизбежной смерти. В бурской войне едва не потеряна нога, осталась хромота на всю жизнь; с 26 лет уже мучает его грудная жаба. Но вспыхивает восстание македонских четников против турок – и вот уже Гучков едет добровольцем туда. Лишь на 41-м году безпкойный этот человек женится. 42 года ему – и он уходит на Японскую войну, хотя не с винтовкой, а уполномоченным Красного Креста и московской управы (впрочем, не минует его и короткий японский плен).

И может, ещё и на том не унялся бы он отзываться на дальние мировые события, если бы самые главные события (тогда ещё никто не прозревал, что – всемирные) не заклокотали бы в самом сердце России. И всё, что делал Гучков до сих пор, загорался и кидался пособлять, – оказалось лишь брожением молодым, лишь подготовкою мужа к событиям государственным. Теперь-то пришлось попробовать, что сдюжит он для России.

Уже довольно было имя его известно, и по Москве заметный был он человек. Воротясь из Маньчжурии весной 1905, узнал он, что от московской городской думы избран на майское земское совещание. Там уже всё более выдвигались не собственно земцы: Петрункевич,

Милиуков, Родичев, братья Долгоруковы. Совещание поразило приезжего накалом своей революционности. Хотя и избиралась депутация к царю посоветовать ему конституцию, но многие жаждали, чтоб отказано было в приёме, и можно было бы неогляднее разворачивать революцию. Умеренная шиповская группа, и в ней Гучков, осталась в порицаемом меньшинстве. Но Гучкову, не избранному в депутацию, как раз во время съезда пришло личное приглашение в Петергоф к Государю (наслышанному о деятельности Гучкова в Красном Кресте и о спорах с Милиуковым). Был принят, беседовал целый вечер, при встрече милостиво присутствовала государыня (далеко не предвидя в этом купчике своего будущего лютого врага). Это было сразу после Цусимы и ещё до приёма земской депутации. Гучков, как он понимал себя и самодержца, дал советы мужественного, бывалого человека – человеку засидевшемуся, отгороженному от жизни и робкому: не дать внутренней слабости одолеть Россию, ни в коем случае не идти на перемирие с Японией, где игра внешних держав решит русскую судьбу; но, уж ввязавшись, продолжать стоять против Японии, а в России быстро, без сложных выборов, собрать Земский Собор – от дворянства, крестьянства и горожан, явиться туда самому и выступить смело, что в прошлом было много сделано ошибок, они не повторятся, но сейчас не время реформ, а время – окончить эту войну, при единстве страны не может Россия проиграть Японии – и не проигрывает! В Земском Соборе будет почерпнуто недостающих сил, это передастся и армии, она воспрянет духом, передастся и Японии, все расчёты которой – на общественный развал в России. И несколько раз Государь в раздумьи повторял: «Да, вы правы. Вы совершенно правы». (И в тех же днях советчику противоположному – что Земский Собор только усилит революционное движение, продолжение войны грозит России гибелью, и надо немедленно заключать мир во что бы то ни стало – Государь согласно повторял: «Вы совершенно правы. Именно так надо поступить».)

Обласканный Гучков в то лето был позван и на узкое петергофское совещание по выработке проекта Думы. Все там предлагали выборы сложно-сословные, чтоб не упустить руководства, только Шипов и Гучков – общенациональные (но – ступенчатые, по степени достоверной известности кандидатов избирателям, отнюдь не прямые).

Если открыть Верховной власти разумный путь – отчего б она не пошла этим путём? Нет! Безмысленно и бездарно ту войну начав – бездарно и невыгодно спешили только вытянуть ноги из проклятой Азии. Внутри России вместо смелых шагов всё лето перебивались малыми, трусливыми и опозданными, а когда помнилось, что вода уже под горло – выбросили сумбурный Манифест 17 октября. Манифест был вырван не потому, что у власти не было физической силы (она – была, и проявлена через два месяца при подавлении московского вооружённого восстания), – но коснеющая царская воля испытывала перерывы уверенности, и в такие перерывы от неё бралось всё, что угодно.

Осудили Манифест правые, осудили и левые. Настроение общества было: царь задрожал? уступает? – так вырвать большее, а взятое – ничто! (Когда в ноябре Гучков предложил земскому съезду осудить насилия и убийства как средства политической борьбы – «конституционное» большинство съезда оказалось принять такую фразу!) Кадеты отказались войти и в «полуобщественный» кабинет Витте.

Отказались и приглашённые к тому Шипов, Гучков, орловский предводитель Стахович, князь Евгений Трубецкой, ибо сочли, что зовут их для показа, перемешать со старыми администраторами, но не реально обновить политику. Шипов же настаивал, что они – меньшинство, а большинство – левые, и именно их надо звать, чтобы общество поддерживало правительство.

Однако за совместные поездки из Москвы в Петербург и обратно, то на консультации о законосовещательной Думе, то на переговоры о вхождении в кабинет, Шипов, Гучков и Стахович в долгих беседах обнаружили и утвердили основания новой партии.

Вослед Манифесту сразу заплодилось много партий, тем мельче, чем их больше. Шиповская группа этой проблемой партийной группировки была застигнута врасплох: она вообще

ведь была против всякой политической борьбы. Теперь и конституционное устройство и партии приходилось принимать как неизбежное зло, всё равно уже введенное волею монарха. Не оставалось другого пути, как принять и свою долю тяготы в новом устройстве. С другой стороны, единственное практическое расхождение с земским большинством – конституция, первенство правового начала, всё равно уже было введено, так что практически Шипову ничто не мешало бы вступить и в партию кадетов. Но разделяла, как он говорил, чуждость кадетов основам народного русского духа.

А Гучков и был за конституционную монархию, именно такую, как обещал Манифест, с ответственностью правительства перед монархом, а не партиями. Он не одобрял наступательного настроения левых земцев, кадетской требовательности парламентаризма ради парламентаризма. Для него Манифест был хорош как он есть, и только опасался Гучков, как бы власть не стала выкрадывать его по частям назад.

И согласились Шипов и Гучков, что пришло время политически объединить всех тех, кто хочет осуществить Манифест – утвердить новый государственный порядок, но при сохранении авторитета монарха; кто одинаково отвергает и застой и революционные потрясения, у кого есть это ощущение исторической глубины, вековой устойчивости, которую надо сохранить в её новом развитии. А для того создать не партию, но *союз* партий – чтоб избиратели не группировались мелко, разномыслием по частным вопросам лишь усиливая партийную рознь, но – единомыслием в основном. Первый такой союз – не против правительства, но в поддержку его.

В начале ноября 1905 шестнадцать основателей объявили о «Союзе 17 октября», приглашавшем в себя мелкие партии с сохранением их программ. Не могли войти только: сторонники неограниченного самодержавия и сторонники демократической республики. Среди главных положений программы нового Союза были: все гражданские права и неприкосновенности; уравнивание крестьян в правах с другими сословиями; признание государственных и удельных земель фондом земельной нужды; допустимость и принудительность отчуждения частных земель, но при справедливом вознаграждении и в исключительных случаях; для рабочих – страхование, ограничение рабочего дня и даже свобода стачек, но при условии, чтобы не страдала жизнь прочего населения и государственные интересы; прогрессивный прямой налог (чем богаче, тем больше платит) и понижение косвенных.

Устроители «Союза 17 октября» торопили скорейший созыв Думы – в мечте, что тогда и начнётся тесное единение монарха с народом. А между тем быстро бегущие недели накатывали на Россию сотрясения и испытания: пьяный мятеж в Кронштадте, флотский мятеж в Севастополе, волнения в губерниях, убийства, террор, паралич всей Сибири, вооружённое восстание в Москве, а в ответ – «режим чрезвычайной охраны» вместо «незыблемых основ гражданских свобод», обещанных Манифестом: левые круги и правительство, как бы наперехват, друг друга выпереживая, сшибали и топтали тот злополучный Манифест. И «Союзу 17 октября», всю свою деятельность полагавшему от Манифеста, приходилось спорить о своём заветном ещё прежде, чем Союз учредился вполне.

Эту среднюю сложную миротворную линию устроители объясняли так:

Шипов: Кому дорого мирное преобразование государственного строя, должен с появлением Манифеста признать революционное движение в стране законченным и доброжелательными усилиями содействовать проведению новых начал. Мы отмежевываемся и от левых, и от правых партий. От правых, потому что они силятся сохранить старый приказный строй, приведший нас к Цусиме. От левых, потому что весь русский народ привержен идее монархизма, а не деспотизма олигархии или массы. Монарх – выше всех политических партий, и свобода и право каждого гражданина наиболее обеспечены при конституционной монархии. В отличие от левых партий мы

считаем, что человек должен быть не только свободным, но и проникнут нравственным идеалом.

Здесь председатель ЦК «Союза 17 октября» сильно приподнял, приписывая свою высокую программу разношерстному соединению, составившему Союз. Для Шипова задачи нового Союза совпадали с его давней мечтой:

устранять из политической борьбы раздражение, предвзятую подозрительность, взаимное недоверие; политическую борьбу сводить по возможности к доброжелательному выяснению спорных вопросов, к установлению соглашений, приемлемых для спорящих сторон.

Гучков: Мы не можем относиться отрицательно к тому, что создано старой Россией. И монархическое начало тоже должно быть перенесено обновлённым в новую Россию.

В Охотничьем клубе на Воздвиженке, где триста прекрасно одетых людей слушали уверенных ораторов, съезд *октябристов* как будто мог торжествовать: сложная средняя линия общественного развития была ясно выражена в речах и неоспоренно принималась аудиторией. Но когда вскоре начались выборы в Думу – мелкие партии и их кандидаты легко откалывались от «Союза 17 октября», вступали в любые безпринципные блоки, лишь бы быть избранными. И собранная силища Союза оказалась трухой. А общество, всё более обозлённое и убеждённое, что никакие соглашения с *этой властью* невозможны, не отдавало голосов странным проповедникам какой-то средней линии и соглашения. И на выборах в Первую Думу в начале 1906 года октябристы потерпели сокрушительное поражение, даже сами Шипов и Гучков не были избраны. И как будто зря они эти месяцы силились воплотить свои высокие принципы в послушное политическое тело.

То был кризис для обоих, но, при разнице возраста всего в 11 лет, для Шипова – переломивший его общественную деятельность на нисходящую ветвь, для Гучкова – взмывший его жизнь по восходящей. Не хочется сказать, что от поражения, но от сошедшихся нескольких причин на том они и разошлись, и даже отчуждились. Вскоре после неудачных выборов Шипов уступил Гучкову пост председателя «Союза 17 октября». Была в их расхождении смена эпох, но было и то, что по законам собственной жизни мы должны, отыграв своё, не задерживаться на сцене. Шипова это настигло в пятьдесят пять лет, счастливы те, кого настигает в семьдесят, а иные и в тридцать отжаты.

На этих обзорных страницах мы так много занимаемся Дмитрием Шиповым не потому, что он повлиял на ход русской истории, но именно потому, что с началом самых жестоких сотрясательных лет не повлиял нисколько. Его умеряющие благотворные действия прежних тихих лет, принесшие и успех его медленным основательным замыслам, и всероссийское влияние ему самому, – с началом общественной тряски сменяются чередой поражений, честных самоотказов и полным задвигом в бездействие, отбросом в бессилие. Именно потому мы так внимательны к урокам Шипова, что за четверть века своей общественной деятельности он как будто ни на градус не уклонился от стрелки нравственной идеи, вышедшей из центра религиозного сознания, кажется ни на одном шаге не был озлоблен, или разгорячился бы борьбой, сводил бы с противниками счёты, или был бы лукав, или корыстен, или славолобив, – нет! он своим спокойным, обстоятельным умом прилагал нравственную идею к русской истории, и не где-то на задворках, но на самых главных местах, и в самые опасные переломные месяцы для России вызывался к Государю для советов, для получения министерских постов, а в июне 1906 – и поста премьер-министра. И – все его советы оказались непринятыми. И – ото всех постов он отказался, смечая соотношение сил и настроений, – странный удел столь многих русских деятелей: по разным причинам, почти всегда – отказ...

Урок Шипова напряжённо дрожит вопросом: вообще осуществимо ли последовательно нравственное действие в истории? Или – какова же должна быть нравственная зрелость общества для такой деятельности? Вот и 70 лет спустя и в самых незапретных странах, веками живущих развитою гибкой политической жизнью, – много ли соглашений и компромиссов достигается не из равновесия жадных *интересов и сил*, а – из высшего понимания, из дружелюбной уступчивости сделать друг другу добро? Почти ноль.

Как при ничтожном загибе тропы мы уверенно видим свой путь прямым, и лишь нескоро обнаруживаем, что описали петлю, – так и в политической жизни Шипова за последний слишком бурный год был совершён загиб, ему самому незаметный. Ещё год назад он считал для России конституцию губительным путём. Затем из послушания монаршей воле стал проводником Манифеста 17 октября – твёрже самого Государя. Теперь же, когда победа – едва, на перевесе – оставалась за властью, Шипов, не замечая, всё более принимал сторону кадетов:

Власть должна отказаться от борьбы с обществом.

В эти самые месяцы убивали сотни должностных лиц, или грозили убийством (брата Гучкова Николая, московского городского голову, за противодействие забастовке митинг трамвайщиков *официально* постановил – *убить*), однако Шипов не прибавлял: «и общество должно отказаться от борьбы с властью». Он отшатывался поддержать энергичные действия Столыпина, который якобы «не признавал нравственного начала в государственном строе и государственной жизни», и склонялся отдать последнюю в волю кадетов, у кого как раз нравственное начало и утанывало в политике.

Как будто при содействующих, располагающих обстоятельствах встречались Шипов со Столыпиным летом 1906, обговаривая, как вместе создать правительство, – но никакое согласие даже не промелькнуло между ними, а сразу – душевное внутреннее отталкивание, которое невозмутимого кроткого Шипова довело до возбуждённого, сбивчивого, оскорбительного объяснения, потом разложенного по логическим пунктам.

А Столыпину, вероятно, виделось, что Шипов, при святости верхового кругозора, лишён хватки, поворотливости, быстрой энергии, славно разговаривает, а *сделать* в крутую минуту не способен ничего, и Россию спасти – ему не по силам.

Урок Шипова тем более печален, что свои последние годы, не избираемый в Думу, всё более вышибленный и устранённый даже из мелкой деятельности, даже из уездного земства и из московской городской думы, и медлительно занимаясь мемуарами, он проявил не возросшую, а ослабшую остроту зрения, когда полуслёзная плёнка доброты и слишком настойчивой, неотклончивой веры мешает видеть. Дописывая мемуары осенью 1918, он изъясняет нам, что вот закончилась последняя большая война истории, подобная кровавая катастрофа никогда не повторится, окончательно ниспровергнуты идеи милитаризма и империализма, религиозное сознание победило, особенно в Соединённых Штатах; русский же народ, богоносец и богоискатель, в недалёком будущем вновь поднимется с колен, а интеллигенция согласует свои взгляды с идеалами народного духа, как террорист-социалист Савинков, уже перешедший в христианство.

И такой конец Шипова заставляет усумниться, насколько отчётливо и быстро оценивал бы он события и отдавал решения, если бы в июне 1906 согласился бы возглавить русское правительство? (Это – не символическое представление: в тех же переговорах наряду с Шиповым участвовал его близкий единомышленник князь Г. Е. Львов. В 1917 тот показал, чего стоила вся линия.) Почитая народ устойчивым богоносцем, отчего, правда, было и не отдать его взбрыкам кадетской Думы? – богоносцу ничто не повредит, он всё равно подымется на ноги. Из нашего отдаления нам легче теперь оценить сравнительную неправоту Шипова и Столыпина, для них самих в горячие недели постигаемые только интуицией.

Столыпин оказался роковым человеком и для Гучкова, в его расхождении с Шиповым. Недавних союзников он разделил как взмахом сабли: от первой же встречи, почти мгновенно, всё той же нашей спасительной интуицией, Гучкову без оговорок полюбился его твёрдый, уверенный, мужественный ровесник Столыпин. В наших схождениях-расхождениях мы иногда сами не замечаем, как выбор наш решается не убеждениями, а темпераментом. Гучкову открылся в Столыпине человек дела с сильной волей, ясным умом, определённым взглядом на всякий предмет, прямым в высказываниях и -

В нём русское было центром всего.

Сам Гучков, к сорока пяти годам из своих передражных поездок и войн придя как будто молодым человеком, только и рвался, только и брался уставлять общественную жизнь – перебивая от Шипова руль «Союза 17 октября» в его крушении, ту самую идею провести, начатую вместе с Шиповым: благожелательное сотрудничество между властью и обществом. Гучкову странно было слышать от Шипова, что тот, занимаясь политикой, порицает политическую борьбу.

А для меня, напротив, всегда большое удовольствие – хорошенько
накласть своим противникам!

Именно борьбой как таковой, самой тканью борьбы, переживанием борьбы – до страсти охватывался Гучков. И в самые бурные месяцы, когда Россию грозило развалить и разорвать, ему дикими казались советы Шипова уступить Россию кадетской Думе, пусть со временем убедятся обе в своих ошибках. Не терпя кадетов, Гучков не упускал случая нанести им удар – хотя б в заседании губернской управы, в повороте мелкой местной резолюции, чтобы кадеты хоть поперхнулись.

Но даже и стоя так, и при симпатии к Столыпину, – войти в его первый кабинет Гучков не решился: это значило бы перешагнуть пропасть от общества к правительству. На Аптекарском острове, за несколько недель до взрыва, Столыпин предложил ему пост министра торговли-промышленности, и программу правительства Гучков одобрял, – а ставил и ставил встречные условия, кого ещё *из общества* непременно позвать в министерство. Уговор не состоялся, но Гучков обещал поддерживать Столыпина с общественной стороны.

В те же дни снова захотел поговорить с Гучковым и Государь, принял его в Петергофе. Это были дни восстания в Свеаборге, а тут – дремало поразительное спокойствие. Государь был в благодушном настроении, очаровательно любезен, как он умел быть очаровательным, очень располагая к себе. Тоже звал в министерство. Но, по всему, не отдавал себе отчёта в серьёзности положения. Монарх – как будто не этой страны, не этой планеты. Он находил излишним всякое обновление внутренней политики и не хотел себя связывать никакой программой. Стало

так тяжело на душе, что и сказать нельзя. Петергофские впечатления
совсем доконали меня. Никакой надежды в ближайшем будущем. Мы идём
навстречу ещё более тяжёлым потрясениям. Но вместе с тем и примирительное
чувство, что *невинных нет*, что все жертвы готовящейся катастрофы несут в
себе свою вину, что совершается великий акт исторической справедливости.
До боли жаль отдельных лиц, но не жаль всю совокупность этих лиц, целые
классы, весь строй, —

писал Гучков жене по свежим впечатлениям петергофской аудиенции. Вся загадка и всё безсилие сгущались в этом странном вежливом Государе, который только и находился спросить солдата – в каком он полку служил перед тем, а послушав игру знаменитого пианиста – что он, старший или младший брат однофамильца-моряка?

Гучков поражался, но не ослаб, а крепкими ногами воина побрёл против сшибающего течения. Когда в августе 1906 были введены военно-полевые суды, мотивированные в правительственном сообщении:

Революция добивается не реформ (проведение их почитает обязанностью и правительство), но разрушения самой государственности и монархии,

а всё общество, разумеется, негодовало на суды, – Гучков не испугался выступить в печати одиноко с одобрением:

Твёрдая власть, имеющая охранить молодую политическую свободу, должна прибегать к скорым и суровым репрессиям. У нас в некоторых местностях идёт междуусобная война, а законы войны всегда жестоки. Возрастающее у нас грабительство уже перешло от революционного характера в разбой. Введение военно-полевых судов – жестокая необходимость. Репрессии вполне совместимы с либеральной политикой: только подавление террора создаст нормальные условия. На революционное насилие правительство обязано отвечать энергичным подавлением. Я глубоко верю в Петра Аркадьевича Столыпина. Таких способных и талантливых людей ещё не было у власти у нас.

И через год:

Если мы присутствуем при последних судорогах революции, то этим мы обязаны исключительно Столыпину.

Сторонники отпадали, левые поносили Гучкова. Но этим заявлением он твёрдо начинал шестилетний вершинный путь своей жизни – те самые отпускаемые нам главные годы, для которых вьётся вся остальная жизнь.

Не сразу этот путь пробился: общество жаждало левизны и революции, во 2-ю Думу октябристы так же не попали, как и в 1-ю. Но весной 1907 Гучков отказался от верного, однако слишком спокойного места в Государственном Совете – чтобы побиться за Думу, собирать октябристов под проклятья и угрозы слева.

Миновали, как считал Шипов, условия для деятельности «Союза 17 октября»? или только теперь и начинались, как уверенно вёл Гучков:

Примирить вечно враждующие русскую власть и русское общество, дружно сотрудничать с властью и безболезненно перейти от осуждённого уклада к новому.

Со своими мировыми и внутренними задачами Россия может справиться

только под предводительством сильной царской власти. Конституция (1906) просвечивает власть для общественности и тем высвобождает от безответственных тёмных влияний, -

но не для того, чтобы кинуть её

в распоряжение политических партий и их центральных комитетов! Мы – против революционных элементов, которые думали воспользоваться затруднительным положением правительства, чтобы насильственным переворотом захватить власть. В борьбе со смутой, в момент смертельной опасности мы решительно стали на сторону власти,

сохраняя свободу осуждать ошибки правительства и отстаивать его верные шаги.

Сам тот Манифест 17 октября сперва слишком неуступчивого, потом слишком напуганного царя – был ли посильным скачком для страны, никак не подготовленной к парламентской жизни? Не обещает ли закон 3 июня 1907 более спокойного развития к парламентскому состоянию?

Тот государственный переворот, который был совершён нашим монархом, как раз и являлся установлением конституционного строя. Я уверен, что спокойная лояльная работа Третьей Думы примирит и наших противников, и через год-два будет вынута ядовитое жало, столько времени растравлявшее народное тело, и избыточная энергия революции уйдёт в созидание.

Так и случилось. Именно с 1907 в России началось неоспоримое выздоровление. Люди, которые несколько лет назад метались от сходки к сходке, теперь развивали экономические программы, и всё более заметной фигурой общества становился инженер.

Осенью 1907 октябристы прошли сплочённой группой в Третью Думу, и их лидеру Гучкову предстояло показать теперь на деле, возможно или невозможно осуществить среднюю линию уравновешенного устройства России. Две первых Думы не видели иной цели, как дразнить правительство и ярить общество, – сумеет ли Третья формировать государственный путь страны?

Первый свежий толчок, который мы испытываем здесь, – это соотношение лидера думского большинства Гучкова и председателя Совета министров Столыпина: их сотрудничество – не в сговоре, не в умысле, но в служении общей цели, кто лучше её поймёт: при единомыслии – спор и состязание. Одно из первых выступлений Гучкова (май 1908) было: отказать в кредитовании флота, укрепляя Россию – отказать ей в броненосцах! Иначе

как нам отделаться от призраков прошлого? Правительство должно пролить всю правду, назвать всенародно имена лиц, виновных в катастрофе.

Эта речь вызвала большое раздражение Николая II, так любившего флот, и сильно омрачилось его отношение к Гучкову, который очень ему нравился прежде.

С думской трибуны открылся Гучкову простор объяснить и всю Японскую несчастную войну:

Главной виновницей наших неудач была не армия, виновники – наше центральное правительство и наше общество. Правительство легкомысленно способствовало возникновению этой войны; в долгие мирные годы не озаботилось правильной постановкой дела обороны; когда появилась опасность – не отдало отчёта в серьёзности положения. Предполагалось, что это – далёкая колониальная война, которую нет надобности вести со всем напряжением сил. Лишь гораздо позднее явилось сознание, что дело идёт не о Южной Маньчжурии, но о существовании России. Когда же мы стали на Дальнем Востоке сильны, и дух армии был ещё бодр – правительство потеряло веру в себя, в свой народ, и заключило тот мир, который надолго похоронил наше международное положение.

Но если правительство хоть в конце несчастной войны поняло свою ошибку, то второй виновник наших неудач – наше общество, так до конца и осталось в своём ослеплении. Общество оказалось несколько не прозорливее правительства, они друг друга стоили. Непопулярность повода к войне заставила общество закрыть глаза, какая жизненная ставка разыгрывалась там, вдалеке. И всё, что лилось отсюда в армию, – наша пресса, письма родных и знакомых, приезжие люди, всё это отнимало последнюю бодрость, остаток

веры в себя и в успех. Наше общество действовало во всё время войны деморализующе на нашу армию. (Справа: «Правильно!») А в конце войны оно ещё усугубило свою ошибку.

Впрочем, и в армии

канцелярия заполнила всё, подчинила строй, мертвила энергию, убивала дух. Генеральский состав оказался наиболее слабым. Как и в Крымской, и в Турецкой войне, большинство генералов оказалось не подготовлено к распоряжению всеми родами оружия. И до сегодня сохранился во всей нашей стране тот противоестественный подбор, при котором всё слабое и ничтожное всплывает наверх, а всё талантливое и смелое отбрасывается.

Выступал Гучков не для того, чтобы покрасоваться с думской трибуны, но – каждую речь улучшить что-то в отечестве, и особенно – в армии, которой он посвятил свою деятельность. То – за кредит на улучшение быта нижних чинов, у которых был скуден приварок, то – за увеличение содержания офицерам, сословию, презренному обществом, обойденному казной, но обязанному в тяжкие минуты отечества за всех за них проявить высший воинский дух.

Некомплект офицеров в армии принимает угрожающие размеры. Есть войсковые части, где он достигает половины офицерского состава. Оклады содержания офицеров и раньше ставили их вплотную с нуждой. А в последние годы, когда многие общественные группы и классы в суматохе так называемого Освободительного движения несколько устроили своё материальное благосостояние, нужда стоит уже не у порога офицерского жилища, но вошла в самое это жилище, офицерские жёны несут самую чёрную работу, офицерские семьи переходят на довольствие из ротного котла, а на далёких окраинах ведут существование прямо не достойное человека. Безпросветность жизни армейского офицера... Невозможность даже под конец жизни обезпечить свою семью.

Тогда как в армии должна быть только одна привилегия – образования, военных знаний и таланта (*аплодируют, но не справа*),

в ней – незаслуженные, неоправданные привилегии гвардии, происхождения, денежного достатка, столичных связей.

Жернов гарнизонной службы перетирает в порошок рыцарские чувства и благородные характеры. Не бережётся чувство чести и личного достоинства, но цуканьем, хамством с подчинёнными, издевательствами, унижениями уничтожают то чувство самолюбия, которое в военном человеке – из главных стимулов героизма. И офицеры уходят из армии – куда-нибудь, землемерами, экзекуторами, бухгалтерами. Остаются в армии или немногие подлинные любители военного дела, или лица, ни на какую другую службу не годные.

А реформы входят в военное ведомство слишком робко.

И когда вспомнишь, как после тяжких поражений поступали другие народы, закрадывается в сердце грусть и зависть. Вы помните, как после 1871 года возрождалась Франция, на какие жертвы шла она вплоть до того момента, как задул ветер социалистических учений и доконал то, чего не в состоянии были сломить немцы?

Ещё в 1908 Гучков понимал и называл:

Комплект наших патронов и снарядов совершенно не отвечает новым условиям войны. При значительной войне наши заводы не приспособлены

покрыть расход боеприпасов, а некоторых составов русская промышленность вообще не вырабатывает.

И – о благовременном переносе заводов от возможного Западного фронта. (До отступления 1915 так и не сдвинулось ничто.) И – о слабости, дряхлости наших крепостей. (Так и оставлены.)

В горьких выступлениях Гучкова лучился и юмор:

Я думаю, что нет министра, который был бы больше заинтересован в свободе печати, чем министр военный. Я бы на его месте ежедневно надоедал министру внутренних дел: когда же он внесёт законопроект о расширении свободы печати.

Ибо не улучшить нам военного ведомства и особенно легендарного интендантского, пока не будет заслушан голос армии и не будет контроля общественного мнения. Вот военный министр (Редигер) решился на безпримерную ревизию над интендантским ведомством.

Перед материалами, которые добыты ею, я вижу себя обезоруженным, ибо на каждый мой вопрос: известно ли военному ведомству то или другое злоупотребление, я уверен, ведомство может мне ответить: «мне известны гораздо большие злоупотребления». (*Смех в центре и слева.*) А если ведомство скажет, что в его руках недостаточно репрессий, я уверен, что Дума не поставит пределов этим репрессиям: для вороватых интендантов мы готовы дойти до военно-полевых судов. (*Рукоплескания в центре и справа.*) Я уверен, что даже господа левые в этом вопросе только стыдливо воздержатся от голосования. (*Слева шум.*) И тогда все эти рассказы о картонных подошвах у героев Шипки, отмороженных ногах и босоногой армии отойдут в область преданий. (*Бурные рукоплескания. Пуришкевич: «Молодчина, Гучков!»*)

В вопросы военного ведомства Гучков входил особенно глубоко. Он сам возглавил думскую комиссию государственной обороны (не допустив туда ни социалистов, ни кадетов), министр Редигер охотно раскрывал перед комиссией все дефекты. Старались добросовестно изучить постановку военного дела в России. Гучков завязал связи и с генералом Василием Гурко и в военно-морских кругах. Военных кредитов не только не урезывали, но всегда добавляли, провели и повышение окладов офицерству. *Наверху* были недовольны, что Дума увеличением военных кредитов ищет симпатий армии и вмешивается не в своё. Но и глядя из Думы, можно было быть недовольным верхами, и Гучков решился взорвать эту тему в ярком выступлении. Чтоб никто не мог помешать, он скрыл свой замысел ото всех и от председателя Думы. Сперва защищал смету, а потом, стараясь говорить возможно быстрее, чтобы не прервали, атаковал великих князей:

Совет Государственной Обороны во главе с великим князем Николаем Николаевичем обезсилил и обезличил военного министра и тормозит всякие улучшения в военном деле. (*«Браво!» Рукоплескания.*) Чтобы закончить перед вами картину той дезорганизации, граничащей с анархией (*«Браво! Верно!»*), которая водворилась в управлении военного ведомства, я должен ещё сказать: должность генерал-инспектора всей артиллерии занимает великий князь Сергей Михайлович, генерал-инспектора инженерной части – великий князь Пётр Николаевич, главный начальник военно-учебных заведений – великий князь Константин Константинович. Так во главе ответственных отраслей военного дела поставлены лица, по своему положению фактически *безответственные*. (*«Браво! Браво!»*) Назвать это своим именем – наш долг, и вместе с тем мы должны признать наше безсилие. (*«Верно!»*)

Верно!!») Прав был депутат Пуришкевич: мы больше не можем позволить себе поражений! Новое поражение России явится не просто уступленной территорией, не просто заплаченной контрибуцией, но *будет тем ядовитым укусом, который сведёт в могилу нашу родину!* (***Рукоплескания. «Верно!!»***) И если мы требуем от страны тяжёлых жертв на дело обороны, то мы вправе обратиться и к тем немногим безответственным лицам и потребовать только всего: отказа от некоторых земных благ и некоторых радостей тщеславия! (***Продолжительные бурные рукоплескания слева, в центре и отчасти справа.***) Этой жертвы вы вправе от них ждать.

Растерявшийся председатель закрыл заседание. Дума была потрясена. Спрашивал Милюков в кулуарах:

– Александр Иванович! Что вы наделали? Ведь после этого Думу распустят!

– Нет, армия и народ – с нами, не решатся!

А Николай II Столыпину: «Он мог бы это сказать в частном разговоре, а не с публичной трибуны». Однако в частном разговоре ответ – улыбка и «вы совершенно правы», и всё остаётся на местах. Уверен был Гучков, что только публично высказанная мысль подействует. Речь его никем не была опровергнута, престиж великих князей подорван. Но и до 1917 они оставались на подобных местах. А Совет Обороны был распущен, к облегчению.

Терял Гучков бывшее расположение Государя. А хотел совсем не этого. В начале 1909 при запросе о годности высшего командного состава вынудил Редигера к признанию:

При выборе кандидатов на высшие должности приходится сообразовываться с тем составом, который налицо, -

и за этот ответ Государь отрёшил военного министра и назначил на долгие годы... – Сухомлинова. Этот – был уже врагом думской военной комиссии, и только помощник министра Поливанов снабжал Гучкова необходимой тайной информацией. Предстояло Гучкову ещё немало разоблачать и Сухомлинова.

Вспоминал ***Шингарёв***:

Речи Гучкова были бы невозможны со стороны кого-нибудь из нас – скандал, удаление на пятнадцать заседаний. А его – слушали.

Впрочем, правые – беспокойно. В постоянном сочувствии Гучкова к армии они видели желание перетянуть армию от Верховной власти к Думе. В правых газетах и с думской же трибуны Гучков был обвинён в «младотуречестве», в «раскрытии ран» нашей обороны, подрыве доверия, выносе сора из избы. Гучков отвечал:

Когда мы видели неспособных вождей, мы говорили: это – неспособные вожди. Едва ли виноваты мы, называя их своими именами, – скорее те, кто держат их. От курения фимиама, от тактики замалчивания мы так много пострадали, что надо воспользоваться Думой, чтобы говорить правду. Член Думы Пуришкевич упрекнул: «Нужна вера, вы вселяете безверие». Но есть хуже, чем безверие, – это ложная вера. И мы будем разрушать её везде, где найдём. «Хлопчатобумажный патриотизм», сказал обо мне Пуришкевич, повторяя засаленную остроту. Эти господа не могут мне простить, что я – купеческого происхождения. Чтобы дать им материал для новых острот, я им ещё добавлю: я не только сын купца, но и внук крестьянина, который из крепостных выбился в люди трудолюбием и упорством. (***Рукоплескания.***) И в моём «хлопчатобумажном патриотизме» вы, может быть, найдёте отзвук другого патриотизма – чернозёмного, мужицкого, который знает цену таким барчукам, как вы.

И разве Гучков не выдержал исходной программы «Союза 17 октября»? Пора Третьей Думы представлялась ему

небывалой с 60-х годов картиной русской жизни: власть и общество, всегда непримиримо враждовавшие, сблизилась. В этом акте примирения выдающуюся роль сыграл Столыпин совершенно исключительным сочетанием качеств. Благодаря именно его обаятельной личности, высоким свойствам его ума и характера, накапливалась вокруг власти атмосфера общественного доброжелательства и доверия на место прежней ненависти и подозрительности. Третья Дума своей уравновешенностью оказала глубокое воспитательное влияние на русское общество. Создавалась небывало благоприятная обстановка, обещающая обновление во всех областях нашей жизни.

О, не так-то просто отползают с народного пути старые каракатицы, одряхлевшие у власти! Уже весной 1909, чуть утихло с революцией, эти фантомы и уроды сплотились к трону – убрать Столыпина. Готовилась его отставка. Гучков дал газетное интервью:

Конституции грозит опасность со стороны правых групп, отставных бюрократов, при новом строе оставшихся не у дел, правого крыла Государственного Совета. Пока Столыпин вёл борьбу с революцией – правые могли жить спокойно. Но наступила эра реформ, и правые поняли, что их торжеству приходит конец. По мере того как революция отлагалась, поднимали головы со своей короткой памятью те, кто неискренно терпел Манифест как легкомысленную уступку. Приведшие Россию к небывалому унижению, перед смертельной расплатой как будто исчезнувшие, – они теперь выползают из всех старых гнойников и захватывают позиции.

А ещё

Столыпин никому не прощает воровства, взяточничества и корысти. Тут он безпощаден. Когда начался грозный цикл сенаторских ревизий, всколыхнулось тёмное царство взяточников и казнокрадов. Кругами расходился по этому болоту страх за существование.

(Всё же в ту весну Столыпин устоял: ещё недостаточно прискучил Государю и как будто ещё не опасно затмевал его.)

Особенности *центра* – с такою же силой Гучков разоблачал и левых:

Если раньше могли быть какие-то иллюзии о моральном значении и политической целесообразности террора, если раньше террор был окружён в известных общественных кругах атмосферой сочувствия, даже соучастия, то ныне лужи крови и грязи лишили террор того ореола. А наш государственный и социальный строй оказался столь могучим, что выдержал безумный натиск безумных людей. Разве террор не выродился теперь в дикую, бессмысленную злобу?.. Последние годы, отмеченные Освободительным Движением, вложили свою лепту в развитие хулиганства. Припомните, с чего началось в России революционное движение? С декабристов! Припомните, чем оно закончилось? *(Слева: «Оно – не кончилось!»)* ...Террор убивает безжалостно не только тех, кто являются его действительными и опасными противниками, он убивает вокруг себя зря, вслепую, кого и как попало. И если раньше можно было предполагать, что в рядах революции сосредоточена известная доля самопожертвования и героизма, то давно героизм переключался в противоположный лагерь; надо признать, что те городовые, солдаты, те

генералы, губернаторы и министры, кто в течении многих лет мужественно выстаивают на своём посту, ежеминутно подвергая опасности себя и своих близких, – они и являются истинными героями! (*Рукопескания центра и справа.*)

И Гучков призывал, чтобы законопроект о помощи семьям, чьи кормильцы убиты революционерами, был поддержан *всею* Думой – это оздоровило бы нравственное сознание страны,

прекратило бы или ослабило то пролитие крови, которое составляет несчастье и позор нашей родины.

Но призывал он, разумеется, тщетно. Не только социалисты, но и конституционалисты-демократы перестали бы быть сами собой, если б осмелились вслух осудить революционный террор. Головы, непоправимо скрученные влево, вернуться в среднее положение не могли.

Со стороны крайних левых групп мы слышим исключительно только речи, полные подозрений, полные яда, полные ненависти. Это показывает, насколько искренними работниками они являются в том труде, который мы несём.

Были и позже случаи противостоять левым – всё о терроре. В конце 1909 на Астраханской улице в Петербурге, в частной квартире, снятой полицией, был взорван бомбою начальник петербургского Охранного отделения Карпов. И левые, и кадеты внесли шумный, кривой запрос о полицейской провокации: что квартира была полицейскою фабрикою бомб. – Но зачем полиции фабрика бомб, да ещё тайная? производить взрывы? – возражал центр. – Нет, подкидывать бомбы перед обысками, – изобретали левые.

Так накалено было в думских крылах – всегда доказывать правоту *своих*, всегда доказывать виновность *тех*, что ораторы не желали схватывать возражений, подробностей дела. Неисчерпаемо-цветистый Родичев, прославленный своим языком и им же едва не наказанный насмерть, теперь с думской трибуны пересказывал из французской газеты статью эмигранта Бурцева (такое возможно было в консервативной Думе!),

кому кадетская фракция верит больше, чем председателю Совета министров,

но упустил, очевидно неумышленно, – язвит Гучков, – как раз то место статьи, где Бурцев свидетельствует о человеке (Петрове-Воскресенском), произведшем взрыв, что он был

агентом революции, палачом революционного трибунала, командированным в стан охраны *двойником*.

А это даёт повод Гучкову высказать, что часто

в полицию являются представители революционных партий с предложениями услуг за деньги. Моральное разложение в революционном лагере пошло далеко, так далеко, что от лозунга «всё дозволено в политической борьбе» дошли до лозунга «всё дозволено во всех областях жизни». Идеалистический, героический период революции, о котором мы знаем понаслышке, давно отошёл, а теперь наступил период *разбойный*. Вот член Думы Чхеидзе, вероятно, не будет мне противоречить. Мне писали с Кавказа в период *Освободительного движения*, что каждая так называемая политическая экспроприация – грабёж, чтобы достать средства для революции, сопровождалась всегда чрезвычайно широкими кутежами в лучших ресторанах Тифлиса. Как эти кутежи бывали, так люди и знали: произошла политическая экспроприация.

И, обращаясь к левым:

Если вы будете разоблачать действительно провокационные приёмы полиции – вы всегда найдёте нас союзниками. Но если вы хотите разоружить государство и правительство в борьбе с революцией – то нет, слуга покорный!

Так стоял он крепкими ногами против шумных и яростных натисков то слева, то справа, то и слева и справа, то поддерживаемый, то бранимый, – но в вере, что твёрдо ведёт средний курс корабля, примиряя русскую власть и русское общество для созидания; в надежде, что наконец и власть и общество ограничат себя и откажутся от непомерных требований.

В этом – особенность парламентского центра:

В Думе есть группы, несколько не заинтересованные в плодотворности законодательной работы. Левые наши *товарищи* твердят и мечтают, что из Думы ничего не выйдет и нужна великая катастрофа;

правые грозят, что Дума к ней и ведёт; власть презрительно смотрит на Думу – нечего с ней считаться; но

разочаруются те и другие, и Думе удастся восстановить у нас правду и справедливость.

Кто же больше *центра* заинтересован в прочном законодательстве? Особенность центра: прикрываться то левым, то правым крылом, собирать большинство то с правыми против левых, то с левыми против правых – и так двигаться вперёд, и так отстаивать страну.

Вместе с левыми Гучков: то (1908) поддержит протест против неслыханного произвола московского генерал-губернатора: он осмелился требовать запрещённые цензурой книги печатывать и *даже* сдавать властям!

то (1909) – за свободу публичного старообрядческого проповедания (все социалисты были конечно *за*, но эту свободу запрещала православная Церковь);

то – против *произвола* над присяжными поверенными (адвокатов, передававших заключённым недозволенные вещи, – министерство юстиции покушалось не допускать в тюрьмы, каково!);

то (1910):

Потребность в системе успокоения прошла. Не видим прежних препятствий, которые оправдывали бы замедление гражданских свобод. Мы ждём!

то (1912) – за расследование Ленского расстрела,

где царили условия кабалы, к счастью давно отошедшие в предание для большей части русской промышленности, а начальство было в панике, обезумев от личного страха;

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.